

Русская речь

Научно-популярный журнал
Института русского языка Академии наук СССР
Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год
Издательство «Наука». Москва

№ 4, 1976 июль — август

В номере:

Ю. С. Сорокин. Белинский и проблемы русской стилистики	3
Л. И. Скворцов. Сокровищница языковой культуры (окончание)	13

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А. В. Дудников. О языке романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева (окончание)	23
Н. И. Толстой. «Плакать на цветы»	27
М. Ф. Пьяных. «Русский строй души» (О речевом симфонизме в поэме А. Блока «Двенадцать»)	32
А. М. Кулюкин. Новообразования в произведениях Блока	38
П. А. Кузьмина. Традиционно-поэтическая фразеология в лирике Блока	42
Н. П. Люлько. Стилистический прием в прозе Л. Леонова	48

Лингвостилистический анализ

Л. Ф. Тарасов. «Утес» М. Ю. Лермонтова	52
--	----

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Р. И. Аванесов. Сочетания с непронизносимыми согласными	57
В. В. Одинцов. Культура спора	59

ГРАММАТИКА

К. С. Горбачевич. О грамматической аналогии	66
И. А. Фигуровский. Экспрессивные добавления в речи	69

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

В. В. Лопатин. Чужевластье в «Горе от ума» Грибоедова	73
С. В. Смирнов. Индивидуум — особь	76
Т. А. Исаева. Названия кораблей в Петровскую эпоху	79
В. И. Супрун. Влах — волох — валах	85

ОБЛАСТНЫЕ ГОВОРЫ

Н. Ю. Меркулов. Говоры Верхневолжья	90
---	----

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

Н. П. Панкратова. Древнейшие памятники письменности (окончание)	96
О. И. Подобедова. Русская средневековая рукописная книга	104

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

А. Ф. Вурм. Сходства и различия русской и чешской фразеологии	113
П. А. Слепцов. Слова, пережившие себя	118

ШКОЛА

Н. В. Чурмаева. Листая учебник	125
Б. И. Матвеев. Языковой колорит эпохи в романе А. Н. Толстого «Петр Первый»	128

СРЕДИ КНИГ

А. А. Брагина. В. Г. Костомаров. Русский язык среди других языков мира	134
Н. И. Хренова. «Словарь синонимов»	138

В. А. Никонов. Из словаря русских фамилий (продолжение)	141
---	-----

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

Развитый — Развѣтый — Развѣтѣй; В Народной Республике Ангола или Анголе; Переиграть; «Порядка десяти тысяч...»; Варганить (сварганить); Опричник; «Смелство, весельство...»	146
---	-----

Практикум по стилистике

31,65,
89,95,112,145

На обложке: В. Г. Белинский.

Рисунок Б. Захарова.



Белинский и проблемы русской стилистики

Русская критика XIX века известна пристальным вниманием к вопросам языка и стилистики. Но даже на этом фоне постоянного живого участия критики в развитии и совершенствовании русского литературного языка поражает то исключительно большое и принципиально важное место, которое занимают эти проблемы в критике В. Г. Белинского.

Дело не только и даже не столько в том, что Белинский рассуждал на лингвистические темы профессионально и писал о русском языке специальные работы (в 1837 году отдельным изданием вышли его «Основания русской грамматики» [см. В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II. М., 1955]; были у него и другие замыслы такого рода), и не в том, что Белинский в своих литературно-критических статьях и рецензиях вместе с анализом идей или образной структуры произведения уделяет внимание и его языку. Дело прежде всего в том, что из этих многочисленных суждений о языке и стиле, к которым так часто и охотно обращается критик в различных своих произведениях, вырастает глубокая и целостная концепция развития языка и прежде всего — русского литературного языка.

Эта последняя тема неизменно представляла, так же как и тема общих закономерностей развития литературы в связи с развитием общества и общественного сознания, чувствительный нерв его критической мысли. Белинский в сущности почти непрерывно, на различных этапах своей деятельности, вступал в полемику с другими критиками и филологами, остро и оригинально трактуя тему подлинного и мнимого богатства и совершенства языка, истинных и ложных предпосылок его дальнейшего развития и расцвета. Его антагонистами были многие писатели, критики и филологи, располагавшие тогда сильным влиянием на «рядового» читателя, — защитники карамзинистской стилистики и крикливые апологеты мниморомантической фразеологии Булгарин и Греч, Сенковский и Николай Полевой, пуристы «Москвитянина» и отчаянные мракобесы из «Маяка»; рьяные, хотя и запоздалые защитники классицистической риторики и стилистики вроде Кошанского. Но убежденный голос Белинского оказывался в конечном счете сильнее и влиятельнее этого объединенного, громкого, хотя и нестройного хора.

В чем же сказывалась убеждающая сила языковых взглядов Белинского? Почему неистовый Виссарион, проповедник передовых социально-политических и философско-эстетических идей, страстный борец с крепостническими устоями царской России, с унижением человеческой личности, с культурной отсталостью и реакционным доктринерством, уделял такое большое внимание этим языковым проблемам, хотя еще в «Литературных мечтаниях» решительно заявил, что «ныне слово *слог* начало терять прежнее свое обширное значение, ибо его перестают уже отделять от мысли» (Цитируется по изданию: В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в 13 томах, т. I, М., 1953—1959). В пятой статье о Пушкине критик иронически вспоминал о минувшей «эпохе стилистики», когда «на сочинения смотрели исключительно со стороны языка и слога, и восхищались удачною фразою, удачным стихом, ловким звукоподражанием и т. п.» (т. VII, с. 302). Что же тогда его самого заставляло снова и снова обращаться к этим вопросам стилистики, рассматривать их и в широком аспекте и входить в мелочи и подробности, в частную критику слога?

И еще одно видимое противоречие. Известно, какую значительную эволюцию, крутые перемены претерпевали воззрения Белинского по самым существенным для него фило-

софским, социально-политическим, этическим и эстетическим проблемам. Однако во взглядах на язык, в определении путей его развития и совершенствования, в исходных стилистических построениях (при всем том, что и в них обнаруживается характерная логика внутреннего развития, усиление или ослабление тех или иных акцентов) можно наблюдать удивительное постоянство на протяжении всей его деятельности. Диалектика, характеризующая мышление Белинского, неожиданно проявляется в том, что эти устойчивые стилистико-лингвистические концепции Белинского всегда органически вписываются в подвижную, никогда не застывающую систему его мировоззрения.

Указанные противоречия между неизменностью в целом его стилистических принципов и особой подвижностью других, нередко основных и стержневых элементов мировоззрения легко устраняются при непосредственном обращении к анализу языковых концепций Белинского. В исходе этих его взглядов на язык отчетливо выступают два момента.

В плане генетическом — представление об *органическом* развитии языка, о связи его с сущностью «народного духа», с народом как определенной исторически являющейся общностью. Уже в начале своей деятельности Белинский решительно противостоял догматическим воззрениям на литературу и язык как нечто искусственно культивируемое. «Литературу не создают, — писал он, — она создается так, как создаются, без воли и ведома народа, язык и обычаи» (т. I, с. 87). Или — несколько более позднее высказывание: «...язык творится сам собою, и даже не народом, а из народа» (т. II, с. 548). Язык рассматривается действительно как «первоэлемент», как необходимое проявление субстанции народа, и в этом отношении развитие языка в литературе рассматривается прежде всего как *раскрытие, развергивание* тех или иных сторон, свойств его, исконно ему присущих, заложенных в народном языке возможностей. Сравните хотя бы следующую значительно более позднюю (1845) формулу того, что следует считать языковым новаторством писателя: «Каждый вновь появляющийся великий писатель открывает в своем родном языке новые средства для выражения новой сферы содержания» (т. IX, с. 225).

Другой момент, решающий для взглядов Белинского на язык, состоит в признании неразрывной связи его с мыслью как сферой «созерцания действительности». Язык —

это *форма*, в которой необходимо выражается мыслительное содержание. Отношения между мышлением и языком, с позиций Белинского, один из случаев, и при этом важнейших, общей связи *содержания* и *формы*. Ясно, что при таком подходе к проблеме языка и мышления, язык — необходимое, действенное орудие мысли. По известной лапидарной формуле Гегеля «форма и содержится в самом *содержании* и представляет собою нечто *внешнее* ему», «форма есть не что иное, как *переход содержания* в форму» (Сочинения. Т. I, М. — Л., 1930). Белинский, решая вопросы языковой формы, очень последовательно держится такого диалектического подхода.

В многочисленных рассуждениях Белинского по этому вопросу противопоставление *языка* и *слога* имеет важнейшее значение. Эти термины в известном смысле отвечают нашему современному различению *языка* и *стиля*. (Впрочем, последний термин, также встречающийся у Белинского, чаще всего не тождествен в его применении термину *слог*. *Стиль* и *стилистика* у Белинского имеют более узкое и формальное значение, нежели *слог*). Язык — по Белинскому — это и совокупность всех форм, всех средств, необходимых для выражения мысли, и обычный механизм речевого выражения любого мыслительного содержания. Слог не означает «живую, органическую ответственность формы с содержанием, и наоборот, умение выразить мысль тем словом, тем оборотом, какие требуются сущностью самой мысли, для которой всякое другое слово и другой оборот были бы неопределенны и неясны» (Русская литература в 1841 году).

Подобные определения слога неоднократно повторяются и варьируются критиком в статьях и рецензиях его и в 30-е, и особенно в 40-е годы. Легко заметить, что в выдвигаемом понятии *слога* у Белинского прежде всего концентрируется идея о единстве языка и мысли, о переходе формы в содержание. *Слог*, по этому определению, не только конкретная реализация языковых форм, определяемая конкретным содержанием речи, но также, применительно к отдельным контекстам, означает высокую степень единства мыслительного содержания и избранных для него форм речевого выражения. (Сравним попутную характеристику достоинств повести А. К. Толстого «Упырь»: «...прекрасный язык, иногда похожий даже на „слог“...»). *Слог* становится синонимом языкового мастерства писателя, тесно связанным с его поэтическим мирозерцанием

и непосредственно отвечающим художественной концепции произведения. Очень характерно в этом смысле то, что сказано в отношении прозы Лермонтова: «Как все великие таланты, Лермонтов в высшей степени обладает тем, что называется „слогом“» (т. V, с. 474). «Слог отнюдь не есть простое умение писать грамматически правильно, гладко и складно, — умение, которое часто дается и бес-талантности. Под „слогом“ мы разумеем непосредственное, данное природою умение писателя употреблять слова в их настоящем значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть кратким в многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать идею с формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа» (т. V, с. 454).

Согласно этому истинную силу и решающие качества слога составляют: точность и сжатость выражения, самобытность и оригинальность его и, самое главное, тесная спаянность слова и мысли. Белинский был первым в русской критике, кто с такой силою и прямою выдвинул эти критерии подлинного языкового мастерства, первым, кто решительно противостоял формальным требованиям «стилистики» предшествующей школы, старой риторики, особенно напиравшей на внешнюю правильность и гладкость речи, на буквальную верность установившимся речевым шаблонам и стилевым канонам. Полемиическая нацеленность критики Белинского на нормы старой стилистики особенно обозначилась при оценке языка и стиля Гоголя.

Представители старой стилистики Булгарин и Греч, Сенковский и Н. Полевой единодушно нападали на Гоголя не только за его «натурализм», за якобы «сальность» и грубость его изображений, но и за неправильность его языка, за многие ошибки против грамматических правил. Не оспаривая критики последнего рода, Белинский, однако, подчеркивает силу и яркость гоголевского слога: «У Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка, — есть *слог*. Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза резко, определенно рельефно выражает у него мысль, и тщетно бы хотели вы придумать другое слово и другую фразу для выражения этой мысли» (т. VI, с. 355).

Любопытно, что подобные требования в общей их форме (требования простого и живого изложения и, главное, ближайшего соответствия слова и мысли) распространя-

ются Белинским и на область «стилистики», то есть, по одному из данных им определений, на систематическое собрание «эмпирических правил» языкового выражения, «подкрепленных примерами» (т. III, с. 261—262). Говоря об основных задачах практического овладения детей литературной речью, Белинский замечает: «Тут главное дело, чтобы приучить их к естественному, простому, но живому и правильному слогу, к легкости изложения мыслей и — главное — к сообразности с предметом сочинения. У нас, напротив, — пишет он далее, — или приучали рассуждать детей о высоких или отвлеченных предметах, чуждых сферы их понятия, и тем заранее настраивали их к напыщенности, высокопарности, вычурности, к книжному, педантическому языку, — или приучали их писать на пошлые, темы, состоящие из общих мест, не заключающих в себе никакой мысли» (т. III, с. 260). Пережитки старой риторики, учение о трех замкнутых стилях языка, педантизм и вялость выражения делаются, начиная с первых статей и рецензий, предметом постоянного осмеяния и гонения со стороны Белинского. Даже по прошествии многих лет эти педагогические советы и раздумья Белинского сохраняют свою силу.

Много беглых, но существенных замечаний об основных моментах развития русского литературного языка в новое время (XVIII и первая половина XIX века) в различных статьях и рецензиях Белинского. При всей их обрывчатости и краткости в них легко прослеживается целый взгляд на этот процесс. В наиболее собранном виде эти взгляды Белинского выражены в пространной рецензии на книгу В. Васильева «Грамматические разыскания» (т. IX, с. 222—235). Здесь Белинский во многом противостоял установившимся тогда оценкам отдельных этапов данного процесса. Отметим и другое: его взгляды на этот счет близки к тем, которые в дальнейшем стали общепринятыми. Это особенно касается определения соотносительной роли Карамзина и Пушкина в ходе формирования национальной нормы литературного языка. Признавая исторические заслуги в этом отношении Ломоносова и Карамзина, Белинский, однако, подчеркивает, что реформы языка, связанные с их деятельностью, не могли явиться завершением процесса формирования литературной нормы языка. Напротив, с реформой Карамзина он связывает прежде всего не установление стилистических норм литературного языка, но лишь ускорение сложения этих норм.

«Русский язык после Карамзина шел не назад, а вперед, и шел быстро, а потому и ушел далеко... С легкой руки Карамзина русский язык получил свойство быстрой усовершенваемости» (т. VIII, с. 253). Основной недостаток Карамзина как стилиста (особенно в повестях) состоял, по мнению Белинского, в том, что он «презрел идиомами русского языка, не прислушивался к говору простолюдинов и не изучал вообще родных источников» (т. I, с. 57). Выделяя в отношении к идиомам русской народной речи особый вклад Крылова-баснописца и Грибоедова, как автора «Горя от ума», Белинский безоговорочно отдает роль основоположника нового литературного языка Пушкину: «Явился Пушкин — и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное — стал *развязен, естествен*, стал *вполне русским* языком» (т. IX, с. 223; курсив мой. — Ю. С.). «Поэтому, — добавляет Белинский, — слушая людей, которые наивно утверждают, что Карамзин кончил, так сказать, воспитание русского языка, и совсем умалчивают о Пушкине, как будто бы в деле языка он не заслуживает и упоминания, — невольно вспоминаешь стих Крылова, обратившийся в пословицу: „Слона-то я и не заметил!“».

В определении признаков полного развития литературного языка в этом высказывании Белинского и в ряде других аналогичных его суждений не случайно стоит на первом месте слово *развязен* (мы бы только сказали сейчас: *развязан*). Свобода в выборе наиболее подходящих для выражения мысли слов, непринужденность, близкая к разговорной речи, обращение к экспрессивным формам народной речи, — вот что вкладывается прежде всего в это афористическое определение. Безусловно, исторически пройденным этапом признается «время, когда язык литературный был скован условными приличиями, чуждался всякого простого выразительного слова, всякого живого и энергического выражения народной речи, когда наивной народной поэзии все чуждалось, как грубого мужицества» (т. VII, с. 250).

Начиная с первых статей и рецензий в «Молве» и «Телескопе», Белинский постоянно и непримиримо атаковал всяческие проявления устарелого слога, отдалявшие книжный язык от живого разговорного, в частности те из славизмов, которые не успели стать элементами общего употребления, оставаясь всего только вариантами к общепринятым словам русского источника. Постоянны у него на-

падки на *сей* и *оний* в книжном языке, на условные поэтизмы типа *главы*, *мраза*, *персей* и т. п. Белинский так последователен в этой критике «славянизмов», что не избавляет от нее даже поэтический язык Пушкина. К прямым «погрешностям» слога он относит, например, употребление в «Цыганах» таких форм, как *рек* («Тогда старик, приближась, рек»), *издранный* («под издранными шатрами»), *младой*, *благостыня*, *глава* (т. VII, с. 400, 412). Признавая их вполне уместными как своеобразные проявления исторического колорита, в специфических стилях поэзии старого типа (например, в переводе гомеровой «Илиады» Гнедича), Белинский безоговорочно причисляет их к архаизмам в плане норм современной литературной речи, не исключая из языка современной поэзии в целом. Не трудно заметить, что в дальнейшей судьбе этих славянизмов мнение о них Белинского сыграло решающую роль.

Вместе с тем, сопоставляя народный и литературный язык, Белинский подчеркивал и существенные принципиальные отличия их. Отдавая должное обилию и силе выразительных средств первого, он особенно высоко ценил быструю усовершаемость и приспособленность второго для выражения важнейших культурных понятий, отвлеченных идей и т. п. Вот почему Белинскому были глубоко чужды проявившиеся тогда в определенных кругах попытки подменить литературный язык простонародным. Подобные попытки Белинский в середине 1840-х годов иронически окрестил «маленько мужицким слогом».

Прогресс литературного языка после Пушкина, придавшего ему вполне последовательный национально самобытный характер, Белинский видел уже, употребляя его собственные лаконические формулы, «не столько со стороны формы, сколько со стороны содержания» (т. IX, с. 225). Еще Пушкин жаловался на то, что «метафизического языка у нас вовсе не существует».

Белинский выразил ту же мысль в более точной и реалистической форме: «Как еще беден русский язык для выражения предметов науки, общественности, — словом, всего отвлеченного, всего цивилизованного, глубокого и тонко развитого, даже ежедневных житейских отношений» (т. IV, с. 226). А одну из главных причин этой бедности Белинский видел в недостаточном тогда развитии и распространении передовых идей.

Так, в представлении Белинского, задачи дальнейшего совершенствования и обогащения русского языка смыка-

лись и отчасти сливались, с одной стороны, с утверждением реалистического направления в русской литературе, все более широкого и углубленного захвата ею существеннейших сторон современной жизни, а с другой стороны, с развитием науки и философии, с глубоким проникновением при помощи передовых методов познания в сферу общественно значимого содержания, с распространением истинно гуманных и демократических воззрений. И нужно сказать, что Белинский сам сделал чрезвычайно много для развития литературного языка, в частности для обогащения его словарного состава.

В высшей степени спорным для времени Белинского оставался вопрос о необходимости и даже возможности дальнейшего усвоения русским языком иноязычных слов. Белинский, признавая законность протестов против употребления таких слов без надобности, вместе с тем не устанавливал отстаивать права на употребление таких терминов (до него либо не употреблявшихся вовсе, либо малоупотребительных и с точки зрения многих «сомнительных»), как *принцип, прогресс, абстрактный, индивидуум, пафос* и других. Борьба вокруг этих слов была тогда поднята жесточайшая, особенно со стороны тех органов печати («Северная пчела», «Москвитянин» и др.), которые были противниками *прогресса* не только как термина, но и как социально-исторического явления. Защищая эти слова, а не предлагавшиеся пуристами, как правило, малоудачные и искусственные их русские заменители (вроде *быть* вместо слова *факт*), Белинский придерживался того справедливого мнения, что «идея как-то просторнее в том слове, в котором она родилась, в котором она оказалась в первый раз» (т. V, с. 194). Не трудно и тут заметить, что отношение Белинского к словам такого источника, защищаемые им принципы сознательного отвержения или принятия их, оставались господствующими и в дальнейшем. Пуристические табу на слова этого источника, исходившие только из формальных соображений, а не из существа дела, не из потребностей наиболее прямого и точного выражения понятия, после Белинского не могли уже иметь сколько-нибудь прочного успеха.

Белинский был и смелым неологизатором. Он предложил в своих сочинениях немало слов, семантически нередко весьма весомых. Ряд таких слов, если не всегда изобретенных самим критиком, то впервые в его сочинениях употребленных в качестве отчетливых терминов, стали

затем общеупотребительными: *миросозерцание, художественность* и т. п.

Мы с полным основанием можем поставить Белинского в первый ряд тех великих деятелей, писателей XIX века, чьими усилиями русский язык достиг полной свободы и высокой степени выразительности. Многообразие стилей выражения, сочетание выпуклой конкретности и яркой образности с точностью аналитической передачи самых сложных понятий характеризует сейчас русскую речь в лучших образцах ее. Белинский неизменно отстаивал идею многообразия стилей, связанную с множественностью социальных функций литературного языка, с ролью его как активного орудия для выражения многообразного содержания, обусловленного развитием общественной жизни.

Велико значение Белинского как реформатора языка нашей публицистики и литературной критики. После него утверждение о слабости этого языка было бы анахронизмом. Напротив, в середине XIX века, как известно, сильно возросло влияние стилей публицистики на дальнейшее развитие литературной речи. Самые сложные и отвлеченные философские идеи, самое глубокое социальное содержание находили живое, доступное и яркое воплощение в стиле критических статей Белинского. И. С. Тургенев говорил о «мужественной и бесхитростной простоте», которой прежде всего обладал язык Белинского, «славный язык, ясный и здравый» (см. «Русские писатели о языке», Л., 1954). Но, по словам того же Тургенева, эта способность к непринужденно простому и ясному выражению сложного идейного содержания опиралась у Белинского на исключительную чуткость его языкового восприятия. «Никто не ощущал, — писал он в «Воспоминаниях о Белинском», — более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно...» (там же).

Лингвистические суждения Белинского, оказавшие такое бесспорное влияние на решение важнейших принципиальных вопросов языка и стиля в периоды интенсивного развития русской общественной мысли и сохраняющие свое живое значение во многом и для современности, так же, как и его речевая практика, положившая начало подлинному расцвету стилей нашей публицистики, находились в самом тесном единстве.

Ю. С. СОРОКИН

СОКРОВИЩНИЦА ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Окончание. Начало: 1976, № 3

Примечательным языковым явлением русской советской литературы наших дней следует признать свободное и широкое обращение молодых писателей к диалектной стихии русской речи — или с точным и подробным воплощением ее локальных особенностей, или просто с установкой на общедиалектное словоупотребление, интонацию и речестрой.

В повести молодого прозаика Гария Немченко «Зимние вечера такие долгие» рассказ ведется от лица Анны Панкратьевны, русской женщины с нелегкой человеческой судьбой:

«Станем было жалковать, а потом кто-нибудь говорит: ой, бабы, да хватит — чего нам к людям за горем идти, если дома свои плачут?

Да сидим, а за окном *ненастует*, да по земле *потащица*, кругом *хурта*, не дай бог где в степи одному, — а у нас тихо да *теплочко*, да только *бодылки* от подсолнуха в печке потрескивают. — то ли не радость?

Тут и поговорим, тут и попоем, и поплачем...» (Г. Немченко. Зимние вечера такие долгие. Изд-во «Современник», 1974).

Сравните с этим авторское повествование молодого архангельского писателя Владимира Личутина, где мы также легко определяем диалектную окраску:

«*Получилось так*, что Аким Селиверстов, к утру добравшись до Койды, узнал, что фельдшера там нет, нет его и

в Мезени, *потому как* в дальних закаринских деревнях появилась испанка, и оба фельдшера срочно, еще неделю назад, выехали к морю. И к тому же *упала* на Зимний Берег редкая для этих мест пурга, навалила снегов по лошадиную холку и надолго перемела и без того ненадежный *зимник*. Две недели пришлось Акиму *высидеть* в Койде, а потом с пустыми руками и горькими мыслями возвращаться в Воицу» (Вл. Личутин. Белая горница. Северо-Западное книжное издательство, 1973).

Интересно, что в повествовательной манере и Владимира Личутина, и Гария Немченко, ориентированной на народную речь (в разных ее истоках), характерными оказываются свободные конструкции присоединения, типичные для русского национального повествовательного стиля, придающие ему черты эпичности в равной степени и в авторской речи, и в речи персонажей. (Так строили фразы Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, А. Н. Толстой.)

Героиня повести Г. Немченко рассказывает о послевоенной встрече девочки с армейским писарем, который по просьбе ее отца вместо похоронки отправил в семью документ о том, что он не погиб, а пропал без вести (чтобы не надломилась в горе его жена с шестью малолетними детьми). И вот конец этой горестной встречи:

«Ну, дочка угостила его, сама поплакала, посидели они, а она потом говорит: все правильно отец рассудил, пусть земля ему будет пухом, и вам, дядечка, большое спасибо, что вы так сделали, только давайте маме про то не говорить, что он убитый,— она его до сих пор ждет!».

Внешняя усложненность такого рода фраз подчинена свободному дыханию устной речи, по-разговорному емка и жизненна. Ее кажущаяся «книжность» в сочетании с народным речестроением дают новое качество языку повествовательной прозы наших дней.

В заключительной части исторической повести Вл. Личутина «Белая горница» (журнальный вариант) читаем:

«Оглянулась Марья кругом, потерянно оглянулась, поставила лампу на заскобленный стол, и стало ей вдруг до невыносимости жалко себя, заревела она, приглушая душевный крик, а то „не дай бог, девка пробудится“...» («Север», 1972, № 8).

Традиции национальной литературной нормы и национального стиля выражения в области художественно-письменной речи могут быть и более «внешними» и более «внутренними». Примеры первого рода находим в ма-

пере «начинов» в повествовательной, русской эпической прозе.

Большинство частей и глав всех четырех томов (включая «Эпилог») «Войны и мира» Л. Толстого начинаются с точных указаний на дату, а иногда даже и на время суток: «Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер...» (том I, часть I, 1); «В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию...» (том I, часть III, 2); «В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск» (том II, часть I, 1); «Тринадцатого июня, в два часа ночи...» (том III, часть I, 4); «22-го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге...» (том IV, часть III, 13); «Наташа вышла замуж раннею весною 1813 года...» (Эпилог, часть I, 10).

Сходную картину мы наблюдаем и в эпическом повествовании М. А. Шолохова «Тихий Дон»: «За два дня до Троицы хуторские делили луг» (книга I, часть I, 8); «В марте 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекру» (книга I, часть III, 1); «В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-Яблоневский...» (книга I, часть III, 24); «Глубокой осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки» (книга II, часть V, 1); «16 января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж» (книга II, часть V, 17); «В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел...» (книга III, часть VI, 1).

Источник этой традиции справедливо, видимо, усматривать в русском летописном своде. В «Повести временных лет» вполне обычен начин «в лето (такос-то)», то есть «в таком-то году»: «В лето 6415. Иде Олег на грекы...»; «В лето 6473. Иде Святослав на козары»; «В лето 6481. Нача княжити Ярополк». Во всех этих случаях главное действующее лицо повествования и его внутренняя пружина и стержень — вечно идущее поступательное движение времени, истории, связанных с нею событий.

Что касается второго рода стилевых традиций, то они связаны с особым построением фразы, включающей «повторы», «возвраты», спиральное ее развертывание.

У Н. В. Гоголя в «Невском проспекте»: «Между тем Пирогов, *кура трубку в кругу своих товарищей*, — потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — *кура трубку в кругу своих товарищей*, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою...».

В «Мертвых душах»: «*После кампании двенадцатого года*, сударь ты мой,— так начал почтмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро,— *после кампании двенадцатого года*, вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин» (Повесть о капитане Копейкине); «Чичиков в качестве поверенного, прежде *расположивши всех* (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку),— итак, *расположивши всех*, кого следует...» (том I, глава XI) и т. п.

Такие же описательно-новостовательные конструкции находим в романе Л. Толстого «Война и мир»: «*На узкой плотине Аугеста*, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок мельник с удочками...; *на этой плотине*, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных волах... моравы...— *на этой узкой плотине...*» (том I, часть III, 18); «*Но генералам*, в особенности не русским...— *генералам этим казалось теперь*, когда всякое сражение было и гадко и бессмысленно, *им казалось, что теперь-то* самое время давать сражения...» (том IV, часть IV, 4).

Суть такого рода конструкций состоит в том, что они как бы предполагают чтение вслух (а не глазами, про себя); они идут от сказа и возвращаются к нему, лежат в основе беседы автора с читателем, придают ей органическую «разговорность».

Отголоски этой традиции находим в прозе молодых современных авторов — тех, кто ориентирует свое повествование именно на своеобразную манеру сказовой беседы: «*А Федя* — саперный лейтенант, как залез на крышу вязать хитрое сибирское стропило (железа арматурного не нашли и решили все по привычке рубить из дерева), *как залез Федя*, так и не слезал, даже пищу ему солдат подавал на крышу: очень уж дорвался человек»; «*А с улыбкой такой*, знал Володя — сам из рядовых пришел, *с улыбкой такой* бессловесно солдаты помирают, Родине своей до кровиночки жизнь отдав» (Сергей Зинин. Живем только два раза. Повесть. — «Волга», 1969, № 2).

Лингвостилистические сопоставления в пределах литературной традиции наталкивают иногда на неразрешимые загадки, оставляя без ответа наши вопросы и недоумения. Если сравнить два нижеследующих отрывка, то нельзя не заметить несомненного сходства между ними.

I. «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом все те, которых называют господами средней руки».

II. «Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники».

Сходство — лексическое и синтаксическое — этих двух фраз несомненно: там и тут «уездный город N» (или «губернский город NN»), там и тут катится «бричка» (в одном случае небольшая «рессорная», в другом — ошарпанная «безрессорная»), причем бричка эта особого назначения («в какой ездят холостяки» или на которых ездят люди среднего сословия).

Между тем первый отрывок — это начало «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, а второй — начало повести «Степь» А. П. Чехова.

Почему Чехов избрал такое начало? Сказалось ли здесь парочитое обращение к гоголевскому тексту, есть ли это факт художественного сотворчества в пределах национальной традиции или для этого будут какие-то иные объяснения? На эти вопросы мы пока, по-видимому, не можем дать окончательных ответов, хотя тайна художественного творчества не может не занимать нас...

Языковая художественная сокровищница пополняется из различных источников. При умелом использовании может стать поэтическим, функционально оправданным, казалось бы, самый что ни на есть прозаический материал, например, деловая, «протокольная» речь. Именно протокольные слова и обороты создают стиливой обертон к повествованию Андрея Платонова в «Сокровенном человеке», вводя читателя в атмосферу трагической повседневности: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись *вследствие отсутствия* хозяйки. — Естество свое берет! — *заключил* Пухов *по этому вопросу...*»; там же: «закурил — *для ликвидации жажды*»; начальник станции смотрел «какими-то *отвлеченными глазами*».

В повести Н. Евдокимова «Необходимый человек», написанной под несомненным стилистическим влиянием Платонова, главный герой Фролов, возвращаясь после войны на родину, «двигался в *неизвестном направлении*». Впрочем, он все-таки «двигался *к определенной цели*. Цель эта была *женского пола*, звалась Настей...».

Однако обращение к такому необычному речевому материалу требует от писателя особенного мастерства и тонкого стилистического слуха.

*

Современный русский литературный язык — вовсе не какая-то застывшая структура; как всякий живой язык, он развивается, изменяется во времени. При этом одни изменения обогащают язык (поскольку удовлетворяют возникающие потребности мысли и общения), а другие, напротив, обедняют его, ведут к разрушению единства языка, уменьшают его сокровищницу. Именно поэтому надо беречь язык от засорения словами ненужными, не вносящими ничего нового, необщепонятными.

В эпоху научно-технической революции, бурного роста технического и культурного прогресса особенно остро встают вопросы иноязычных заимствований, а также проблемы терминологии и терминотворчества.

Не захлестнет ли иноязычная стихия национальный русский язык наших дней? Где разумные пределы «свободного взаимодействия» различных языков в нашу эпоху? На какой базе должна строиться научная терминология? Усложняется язык науки, но все ли так закономерно и естественно в этом усложнении? Служит ли усложнение подлинному углублению мысли или просто затемняет ее, как было неоднократно и в прошлом? Эти и подобные им вопросы волнуют сейчас не одних только лингвистов.

На страницах газет и литературных журналов время от времени появляются панические призывы спасти русский язык от неминуемой порчи, от потери им национального своеобразия, гневные упреки в адрес лингвистов, якобы бесстрастно взирающих на эту печальную картину.

Показательна в этом отношении брошюра журналиста К. Ф. Яковлева «Как мы портим русский язык», выпущенная Верхне-Волжским книжным издательством (г. Ярославль) в 1974 году и посвященная проблеме иностранных слов в русском языке. Категоричность многих

утверждений и выводов автора, равно как и определенная односторонность его суждений, уже была отмечена критикой (см., например, рецензию Н. Зайцева «Язык наш — слава и любовь» в журнале «Молодая гвардия», 1975, № 3). Однако так ли несправедливы эти призывы и упреки и нет ли под ними каких-либо объективных оснований? Безусловно, такие основания есть, но это вовсе не значит, что простыми призывами или гневными полемическими оценками можно заменить серьезный и спокойный анализ лингвистических явлений.

Действительно, языковедами давно уже было замечено, что национальное своеобразие русского языка (как, впрочем, и любого другого языка) стиралось бы лишь в том случае, если бы общение русского народа с другими народами возрастало больше, чем внутренняя связь всех его элементов в пределах одной нации. А раз такого нет, то, может быть, нет и никакой проблемы?

Однако проблема есть, и отмахнуться от нее нельзя. Слов вроде *менеджер*, *компьютер*, *дизайн* и *дизайнер* могло бы в русской речи быть гораздо меньше. И дело не в одном только их иноземном происхождении. Приходя из одного источника (обычно англо-американского), накапливаясь в нашей речи, эти слова нередко требуют для себя исконной орфоэпии, то есть становятся как бы «автономными» в инонациональной среде. Другими словами, они исподтишка, но в конечном счете разрушающе влияют на структуру нашего языка. Они или не имеют вовсе или имеют очень слабо выраженные словообразовательные возможности (какие слова можно образовать, например, от *мотель* или *хобби*?). Наконец, они не несут никаких смысловых ассоциаций и грамматических аналогий в системе русского языка, оставаясь инородными элементами в его живой ткани.

Казалось бы, чем *художник-конструктор* или *конструктор мебели* лучше *дизайнера*? Однако *мебель* и *конструктор* — слова не только заимствованные, но и еще и освоенные русским языком. Словосочетание *конструктор мебели* становится в смысловой и структурный ряд с такими выражениями, как *строитель дома*, *сочинитель песен* и т. п., а у слова *дизайнер* таких связей нет, как нет их и у многих заимствуемых в наши дни слов.

Культура речи в терминологии и в терминотворчестве предполагает естественное развитие этого важного слоя лексики на национальной или интернациональной основе

(или с использованием интернациональных морфем). И она решительно отвергает простое занятие, перенимание чужого и чуждого, не привносящего в язык ничего нового, не пробуждающего его внутренних сил и творческих возможностей. Именно поэтому пафос протестов против таких заимствований в целом может быть понят и сочувственно воспринят всеми, кому не безразличны судьбы родного языка.

Займствования из одного языка в другой (или в другие) — явление нормальное и неизбежное в истории любого развитого в научном и культурном отношениях общества. Многообразные связи между народами приводят к обмену материальными и культурными ценностями и, следовательно, к обмену понятиями и их обозначениями. Русский литературный язык всегда справлялся с чужеродными влияниями, справится он и теперь с очередным нашествием иностранных слов. Однако было бы неверным полагаться целиком на его здоровую основу. Необходимо постоянное и активное вмешательство в языковую практику, нужна разработка научной теории языкового заимствования.

Самокритичное (и полущутливое) пушкинское замечание о том, что его «слог пестреть гораздо б меньше мог иноплеменными словами», мы можем в ряде случаев вполне серьезно отнести к нашим дням, нашему слогу.

В содержательных, интересных очерках С. Кондрашова «Свидание с Калифорнией» («Знамя», 1975, № 7) приводятся в большом количестве всякого рода *эр-кондишн'ы*, *супермаркеты* и *фривеи*...

И это не выглядело бы щеголяньем, поскольку речь идет о чужой стране, если бы не одна деталь: автор сначала употребляет то или иное словечко, а на последующих страницах дает их перевод и объяснение читателям. Вот и получается, что С. Кондрашов пишет: «Для пилота главный ориентир — *фривеи*» (стр. 167), а потом растолковывает мимоходом: «...*фривей*, свободный путь, великолепная дорога» (стр. 169). Или много раз без кавычек и без перевода употребляет слова *парковать* и *парковка* (стр. 156, 159, 167), а затем подробно объясняет: «На центральных магистралях категорически запрещены не только *parking* (стоянка, парковка), но и *standing* (короткая остановка с водителем, остающимся за рулем)» (стр. 169). Согласитесь, что такое поствведение в текст экзотизмов довольно

ясно говорит об излишне терпимой позиции автора в вопросе заимствований.

А одна молодежная газета полупуштя, полусерьезно опубликовала в мае 1975 года статью «Каков твой гейс?». Автор статьи объяснил, что *гейс* — слово древнекельтское; в ирландских сагах оно обозначает личный запрет на что-нибудь, наложенный на себя героем. Автор предложил ввести (не больше и не меньше!) «в наш обиход само это явление вместе со словом», чтобы научиться разумно ограничивать себя, добровольно принимая те или иные запреты. Газета поддержала оригинальное начинание, опубликовав серию откликов под тем же названием «Каков твой гейс?». Стоило ли так охотно подхватывать чужое словечко? Ведь есть у нас и свои, и давно заимствованные слова этого старого смысла: *самоограничение*, *зарок*, *обет*, *обещание*, *завет*, *кредо*, наконец — *эпитимья*... Зачем же нам отказываться от того, что мы имеем? Как бы теперь вдруг не пошло это слово, и наши школьники не стали бы писать сочинений на тему «Новые люди и их гейс» или «Гейсы молодого Льва Толстого»? Будем надеяться, однако, что вся эта затея не выйдет за пределы безобидных газетных дискуссий...

Обогащение языковой сокровищницы надо уметь отличать от ее засорения и обеднения. А засоряет ее прежде всего то «новое», что не приносит дополнительных оттенков мысли, что оказывается простым дублетом к тому, что уже есть в языке.

Постоянный и неустанный труд писателя над словом требует глубоких знаний огромных возможностей родного языка, умения вскрыть и показать людям его нетронутые богатства. Язык в его истории, современном состоянии, в памятниках письменности и в произведениях художественной литературы связывает каждого из нас с прошлым, настоящим и будущим народа.

Именно поэтому писатель в своем языкотворчестве (да и в творчестве вообще) не должен вступать в противоречие со сложившимися закономерностями и живыми тенденциями развития родного языка; оберегая литературную сокровищницу, накопленную веками, писатель, по справедливому замечанию академика В. В. Виноградова, «не может безнаказанно, без глубоких на то оснований, нарушать нормы общенациональной речи» (статья «Заметки о языке советских художественных произведений»).

Задача писателя и журналиста, ученого и публициста состоит в умелом и бережном обращении с богатствами литературного языка, чтобы сложную симфонию мелодий и линий, полутонов и оттенков не подменять незатейливым, хотя, может быть, и трогательным в своей простоте, пением волынки, гудка или жалейки. Всему свое место и свое время.

О точном, умелом и честном обращении с родным словом заботились многие поколения русских писателей. Советская социалистическая эпоха, советская литература и культура наполняют эти требования новым содержанием, неизмеримо усиливают их. Забота о языке становится у нас поистине общенародным делом.

В давней своей статье «Язык литературы» К. А. Федин писал: «Мало говорить, что такой-то писатель небрежен к языку. Надо показать на опыте своего дела правильное обращение со словом. Напиши книгу безупречную по языку. Это будет действенным участием в борьбе за культуру художественной речи».

Нашим молодым литераторам есть у кого поучиться, кого взять в этом смысле за образец: перед ними опыт старших мастеров слова, книги Михаила Пришвина и Алексея Толстого, Бориса Шергина и Константина Паустовского, Александра Фадеева и Константина Федина, Леонида Леонова и Михаила Шолохова — гордость русской советской литературы и культуры.

Успехи научного описания и изучения структуры современного русского литературного языка и его норм ничуть не уменьшают, а в известной мере даже стимулируют необходимость активного вмешательства общественности — писателей, журналистов, педагогов, широких кругов советской интеллигенции — в вопросы языкового развития, повышения речевой культуры, совершенствования новых общественных функций русского языка как средства межнационального общения народов СССР и как международного, мирового языка современности.

Л. И. СКВОРЦОВ



О языке романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева

(Окончание)

Известно, что лингвистическая «база» художественности, кроме лексико-фразеологического аспекта, наиболее рельефно проступает в синтаксической структуре художественной прозы. Анализ синтаксической системы романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» может послужить убедительным доказательством справедливости этого положения.

В синтаксисе «Отцов и детей» выделяется целый ряд таких особенностей, которые составляют специфическую принадлежность или только описательных этюдов, имеющих разные темы и целевые установки (прошлое героя, портрет, манера поведения, психологический облик, пейзаж), или только повествовательных зарисовок с разной степенью напряженности в разворачивании событий, или сугубо авторских оценок и рассуждений. Кроме того, синтаксическая ткань романа позволяет заметить некоторые частные особенности, характеризующие индивидуальную синтаксическую манеру писателя в выборе порядка слов, в построении словосочетаний и предложений различных типов.

В романе «Отцы и дети» (как и в других романах И. С. Тургенева) неоднократно встречаются пространные описательные этюды, прерывающие основной сюжет и изображающие прошлое героев. Обычно это многокомпонентные комплексы предложений. Вот, например, описание образа жизни княгини Р: «Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми..., а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки...».

Детали синтаксической структуры в приведенном этюде не являются случайными: употребление большого числа однородных

сказуемых в простых и сложносочиненных предложениях позволяет автору показать типические черты и главное содержание жизни героя путем простого перечисления характерных бытовых или общественных ситуаций. С помощью глагольных форм прошедшего времени несовершенного вида выразительно подчеркивается постоянство или регулярная повторяемость этих ситуаций: «Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством...».

Некоторое структурное сходство с приведенными выше описательными этюдами имеют повествовательные зарисовки, изображающие динамическое развитие событий, когда количество однородных сказуемых резко сокращается и все они выражаются формами прошедшего времени совершенного вида. Например: «Вот уже мостик загредел под копытами и колесами, вот уже нагнулась аллея стриженных елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика... Он узнал Катю, и она его узнала».

В своеобразной, чисто тургеневской манере дается в романе портрет героя, а также внешний облик предметов — вещей, составляющих обстановку или входящих в пейзаж. Главной синтаксической особенностью таких описаний является употребление очень большого количества всевозможных согласованных и несогласованных определений, а также приложений, которые составляют длинные цепи или образуют многочисленные однородные ряды, например: «Этот Тимофейч, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съезженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ремненным обрывочком и в дегтярных сапогах».

Вот пример описания обстановки и пейзажа: «Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок».

В смысловой композиции «Отцов и детей» выделяются не только зарисовки, изображающие далекое прошлое героев, рисующие их портреты, описывающие природу, а также предметы — вещи. Кроме этих зарисовок, которые исполняют лишь роль художественного фона или обрамления, в романе выступают центральные картины, отражающие главные события и факты веду-

щей сюжетной линии. Для этих центральных картин И. С. Тургенев находит особую форму изображения, которая характеризуется изумительной простотой конструкций. Например: «Фенечке правился Базаров; но и она ему правилась. Даже лицо его изменилось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе...».

Чем же достигается эта чистота и ясность в выражении нужного содержания? — Если портретные зарисовки, а также описания предметов-вещей и пейзажа бывают в романе весьма пространными и включают в себя многочисленные ряды определений всех семантических оттенков и синтаксических разновидностей, то центральные картины, отражающие главные события и факты ведущей сюжетной линии, рисуются автором чрезвычайно лаконично. Главным компонентом этих «малых синтаксических форм» является предложение с весьма ограниченным количеством распространителей и редким включением однородных или обособленных членов: «Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте»; «Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер».

Один такой комплекс, как правило, отделяется от предшествующего пространным диалогом, состоящим из длинного ряда более или менее распространенных реплик.

Конструкции авторской речи не фиксируют событий и фактов центральной сюжетной линии, а выражают оценочные замечания автора в виде афористических высказываний, умозаключений или риторических вопросов. Например: «Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы...»; «Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком, но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит»; «И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?».

В синтаксической структуре романа «Отцы и дети» можно выделить некоторые частные детали, характеризующие индивидуальную манеру писателя в построении некоторых типов словосочетаний и предложений. Наиболее примечательным в этом отношении является чисто тургеневский оборот, выражающий высшую степень концентрации признака или напряженности действия сочетанием формы родительного падежа с предлогом *до*. Например: «...но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, — загадочный взгляд»; «...ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не до-

растали до тревоги»; (мужичок) «был весь ясно виден, весь, до заплаты на плече».

В романе «Отцы и дети» можно встретить некоторые типичные для XIX века формы управления. Так, вместо современного творительного предикативного, И. С. Тургенев употребляет для обозначения присвяточного члена при связках «слыть» и «считать» винительный падеж с предлогом *за*. Например: «Она слыла за легкомысленную кокетку» (современное «слыла кокеткой»); «...она (Кукшина)... сама себя считала за добродушное и простое существо...» (современное «считала... существом»).

Вместо современного предложного падежа с изъяснительным значением у И. С. Тургенева можно встретить винительный падеж без предлога. Например: «...Базаров рассказал ему свою дуэль» (современное «о своей дуэли»).

В отдельных случаях И. С. Тургенев предпочитает употреблять согласованное прилагательное в функции определения там, где современные нормы сочетаемости слов требуют формы родительного падежа существительного. Например: «...всякого рода „объяснения“ постоянно возбуждали нетерпеливое чувство...» (современное «чувство нетерпения»).

Современные предложные словосочетания типа «дернуть за ухо», «потянуть за усы», «схватить за нос» в романе не употребляются, так как нормы того времени требовали здесь беспредложных форм. Например: (Павел Петрович) «подергал себе усы» (современное «подергал себя за усы»).

Можно указать также некоторые устаревшие словосочетания, построенные на основе примыкания. Например: «Павел Петрович с особым вниманием оглянулся кругом» (современное «огляделся кругом»).

В заключение обратим внимание на один чрезвычайно важный семантико-синтаксический момент — на замечательную способность И. С. Тургенева находить уникальные художественные определения и сравнения, раскрывающие своеобразие авторского видения мира.

Выявление эстетически значимых элементов языковой выразительности и образительности, оценка их роли в художественной инструментровке текста и в создании индивидуального «регистра художественности», установление закономерных связей между лингвистическими элементами разных уровней в совместном выполнении ими эстетической функции — все это может и должно составить содержание лингвистического анализа художественного текста.

Профессор
А. В. ДУДНИКОВ

В одном из ранних стихотворений Сергея Есенина (1914), навеянных рязанской деревенской жизнью, деревенскими праздниками и деревенской природой — есть любопытное выражение *плакать на цветы*.

Стихотворение это без названия и оно настолько коротко, что его можно привести целиком:

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.

Троицын день, вернее утро этого дня передано очень точно, со всей неповторимой свежестью есенинского слова. И все достаточно понятно — и украшение зеленью и лентами окон, и «белый перезвон», поэтически перенесенный на березы. Пение птах и, вероятно, пение на обедне, о котором в стихотворении ничего не упоминается, сочетается с похоронным мотивом — мотивом похорон молодой поры («Похороним вместе молодость мою»). Именно таким же поэтическим оборотом, или приемом, воспринимались и строки: «Я пойду к обедне плакать на цветы». Однако они не иносказательны, а точно описывают старинный славянский обряд, обряд еще дохристианский, связанный с магией вызывания дождя и плодородия.



«ПЛАКАТЬ НА ЦВЕТЫ»

(Этнолингвистическая
заметка)



Не так давно, менее десяти лет тому назад, этнограф Л. А. Тульцева наблюдала за праздниками в быту крестьянства Рязанской области. Вот, что она видела в селе Новопанском. Троицын день в этом селе отмечается некоторыми жителями рядом обрядовых действий, среди которых известно и *оплакивание* травы. Утром к обеду идут с травой, которая должна быть *оплакана*; ее сохраняют во время обедни и с нею же идут к вечерне. На вечерне, становясь на колени, прижимают ладонями траву к лицу и плачут (см.: «Советская этнография», 1970, № 6).

В конце двадцатых годов подобные магические действия были отмечены на севере Московской области — в Дмитровском уезде. По описанию Л. Б. Зерновой, «во время троичского молебна девушки, стоящие слева от алтаря, должны уронить несколько слезинок на пучок мелких березовых веток. Этот пучок тщательно бережется после и считается залогом того, что в это лето не будет засухи» (см.: «Советская этнография», 1932, № 3).

Здесь нам раскрывается смысл древнего славянского обряда: слезы означают дождь, а трава, цветы или березовые ветки — землю, земную растительность. Орошение способствует росту, а рост плодоношению, урожаю. В белорусском Полесье юго-западнее Мозыря (с. Стодоличчи) не так давно нами был записан обряд вызывания дождя у колодца. Бабы, вызывая дождь, выкликали мифического Макарку и плакали, как по покойнику — «Макарка, сынóчок, да вўлезь (-вылезь) из воды, розлэй слезы по светуй землй-и-и!»

Представлениями о дожде как о слезах богата славянская народная поэзия. В русском «Стихе о Голубиной книге» говорится, что «дробен дожджик от слез божних; роса утренняя и вечерняя от слез царя небесного, самого Христа» (П. Бессонов. Калекп перехожие. Вып. 2. М., 1864). Из польских сказок известно, что небесные девы плачут и идет дождь, превращающийся в три реки, из болгарских загадок, что дождь — богородицына слеза, из старинных русских народных представлений, что дождь — слезы святых, плачущих о бедах и грехах человеческих (А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Кн. I. М., 1863). Вызванный различными магическими действиями благодатный дождь называется у поляков *житом*, *сокровищем*, а у белорусов-полешуков из Речицкого Полесья — *хлебом*.

Троицкое проливание слез, «оплакивание» цветов, травы (дерна) или березовых веток относится к формам симпатической магии, оно должно было вызывать летом обилие дождя, а дождь приносить урожай — «сокровище», «жито», «хлеб».

Обычай *плакать на цветы* был известен не только русскому крестьянству, но и русскому дворянству — «высокому кругу».

Вспомним, что семейство Лариных, наделенное привычками милой старины, знало этот обряд.

Вот как жили Ларины:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на маслянице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зеваая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

Пушкин. Евгений Онегин

Интересно, в какой части России мог наблюдать Пушкин этот обряд и какие дополнительные действия при нем могли производиться (*кто плакал, когда, где, над чем* — над травой, дерном, березовым пучком, цветами, какими цветами?). Возможно, помимо московско-рязанского Центра, он был распространен и известен на псковской и новгородской земле, а может быть и на более широких российских просторах.

Для понимания пушкинских строк: «Умильно на пучок зари Они роняли слезки три» нужно сказать еще немного о слове *заря*. Контекст убеждает нас в том, что речь идет не о *заре* «яркое освещение горизонта перед восходом или после захода солнца», а о каком-то растении, цветке. В «Словаре современного русского литературного языка» (т. 4, М.—Л., 1955) приводятся интересующие нас пушкинские строки, *заря* объясняется как «высокое многолетнее растение с блестящими листьями и цветами, собранными в виде зонтиков; любисток». Судя по «Ботаническому словарю» Н. Анненкова (СПб., 1878), 17-томный словарь дал правильное объяснение. Вероятнее всего это — «любисток», *Ligusticum Levisticum* L.), растение и целебное и магическое, обладающее силой, по некоторым украинским суевериям, необходимой для того, чтобы девчата привораживали хлопцев. Однако, согласно тому же словарю Н. Анненкова, название *заря* (*зоря*) может относиться и ко многим другим растениям. Таких растений около десятка, а среди этого десятка внимание привлекает псковский народный ботанический термин *заря*, *заря заячья* — «красный пырей, *Iuncus bulbosus* L.»

Наконец, следует сказать, что в первом печатном издании «Евгения Онегина», очевидно по цензурным соображениям, бы-

ли сняты интересующие нас четыре строки вместе с четырьмя предшествующими и тремя последующими, то есть весь приведенный выше отрывок (XXXV строфа) состоял из первого четверостишья, а дальнейший текст был заменен многоточиями. О причинах такой купюры можно догадываться по дневниковой записи цензора И. М. Снегирева, известного в те времена этнографа и автора четырехтомных трудов «Русские в своих пословицах» (М., 1831—1834) и «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837—1839). 24 сентября 1826 года он записал: «Был у А. Пушкина, который привез мне как цензору свою пьесу „Онегина“, глава II, и согласился на сделанные мною замечания, выкинув и переменив несколько стихов; сказывал мне, что есть в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы (т. е. могилы — *Н. Т.*) родителей, чтобы прочистить им глаза» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. 5. М., 1957).

Сколь тесна связь обряда плакать на цветы с обрядом обметать родительские гробы, из-за недостатка материала сказать сейчас трудно. Однако, это — еще одно ценное свидетельство широких этнографических познаний великого русского поэта.

Автор этой заметки просит тех, кто что-либо знает об обычае *плакать на цветы*, сообщить о нем по адресу работы автора: Москва, Г-69, Трубниковский переулок, 30^а. Институт славяноведения и балканистики АН СССР.

Н. И. ТОЛСТОЙ

Черпать содержание творчества из отвлеченно-бесплотного — значит расстаться с творчеством. Черпать его из самого живого и конкретного — значит углублять и утверждать творчество.

А. Б л о к. Рецензия на книгу Мирэ «Жизнь». 1905

Только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами.

А. Б л о к. Религиозные искания и народ. 1907

В поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «не свое».

А. Б л о к. «Катилина». 1918

ОТ А. С. ПУШКИНА — К А. А. БЛОКУ

Проанализируйте значения прилагательного *железный* в приведенных отрывках из произведений А. Блока, сопоставьте с данными «Словаря языка Пушкина». Отметьте направление метафоризации слова.

И чем он громче спорит с мглою будней,
Сей праздный звон,
Тем кажется *железней*, непробудней
Мой мертвый сон.
Б л о к. «Сквозь серый дым...»

Иль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью *железной*
Усну на белых простынях?

Б л о к. «Все это было, было, было...»

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, *железная*
Свистела, сердце разрывая...
Б л о к. На железной дороге

Век девятнадцатый, *железный*,
Воистину жестокий век!
Б л о к. Возмездие

Вдруг витязь мой,
Вскипев, *железною* рукой
С седла наездника срывает
И в волны с берега бросает.
П у ш к и н. Руслан и Людмила

Наш век — торгаш; в сей век *железный*
Без денег и свободы нет.
П у ш к и н. Разговор книгопродавца с поэтом

Ответ см. на с. 145

Практикум подготовила Л. И. Еремина

«РУССКИЙ СТРОЙ ДУШИ»

(О речевом симфонизме
в поэме А. Блока
«Двенадцать»)



Поэма А. Блока «Двенадцать» — выдающееся произведение русской поэзии — интересна своим речевым строем. Семантико-синтаксический строй речи автора и его героев органически связан с идейно-художественной структурой поэмы. В ней важную роль играют сцены с диалогами и монологами, в которых голоса красногвардейцев и автора, то сливаясь, то разделяясь, создают сложную речевую симфонию, выражающую, если говорить словами самого поэта, «совершенно своеобразный, открывающий новые дали русский строй души».

Прочитать партитуру этой речевой симфонии, то есть вычленив отдельные голоса и понять их взаимодействие, не так просто, как может показаться на первый взгляд. Графические знаки и авторские ремарки, выделяющие и расчленяющие речь героев, в данном случае не всегда приходят на помощь, так как они у Блока выполняют свои традиционные семантико-синтаксические функции главным образом в первой главе поэмы, а точнее — лишь в той ее части, где передаются разобренные отголоски «обескрылевшей, — как писал сам Блок, — и отзвучавшей цивилизации». Слова старушки, писателя-вития, барыни в каракуле здесь выделены графически, например:

Вот барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Однако, начиная со второй главы, где впервые появляется красногвардейский патруль, и до конца поэмы, Блок



отказывается от пояснений такого типа. Слова красногвардейцев, выделенные графически, как прямая речь, хотя и дифференцируются по своему индивидуально-психологическому содержанию, но прямо не соотносятся с тем или иным лицом, так как почти все двенадцать «апостолов» революции, кроме Петрухи и вскользь упомянутого Андриухи, остаются неназванными.

Внимание Блока сосредоточено не столько на индивидуальных голосах, сколько на их звучании в общем хоре, поэтому автор не называет многих героев по именам. Даже о голосе Петьки, проходящего лейтмотивом, как и голос автора, через всю поэму, нигде прямо об этом не сообщается. Имя Петрухи впервые произносится в кульминационной шестой главе, где начинается процесс духовно-личностного просветления героя, и только после этого Блок строит так диалоги, что из них и без авторских ремарок становится ясно, какие слова принадлежат Петрухе (см., например, главы 7 и 10. А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах. Том VI. М.—Л., 1962).

Из сказанного вовсе не следует, что до шестой главы Петька не подавал голоса. Его голос, то сливаясь с другими, то выделяясь в монолог (гл. 5), звучал и раньше, но был тогда внутренним голосом, графически не выделенным как прямая речь.

Мы подошли к самому сложному и оригинальному в партитуре речевой симфонии «Двенадцати». Блок нередко отказывается не только от авторских ремарок, поясняющих, кому принадлежат те или иные слова, но и очень

часто от знаков прямой речи, хотя форма и смысл высказываний определенно свидетельствуют, что это именно прямая речь. При внимательном прочтении такая речь оказывается речью полифонической. Ее можно было бы назвать несобственно-прямой, но в отличие от традиционной несобственно-прямой речи, образующей своеобразный речевой дуэт, здесь мы имеем дело и с речевым многоголосьем (два голоса и больше), и с переходом многоголосья в монолог (гл. 4), и даже с внутренней диалогичностью. Такая речь, не отмеченная графически как прямая, является всегда внутренней речью, а ее полифония, как правило, включает в себя отчетливо или приглушенно звучащие голоса автора и «мирового оркестра» революционной эпохи.

Ключом к сложным моментам речевого симфонизма поэмы «Двенадцать» является ее нравственно-психологический сюжет. Этот внутренний сюжет выполняет роль своеобразной «программы», предварительное знакомство с которой (особенно с историей взаимоотношений Петрухи и Катьки, начинающей проясняться лишь в конце четвертой и в пятой главе, а для красногвардейцев открывающейся только в седьмой главе) помогает более внимательно вслушиваться в симфонию голосов и не только воспринимать ее общее звучание, но и различать отдельные партии.

Первое появление красногвардейского патруля сопровождается репликой: Холодно, товарищи, холодно!

Наличие обращения свидетельствует, что это прямая речь, но знаков прямой речи нет, так как в этих словах каждый как бы обращается ко всем. Отсутствие знаков прямой речи говорит также о том, что это не вслух высказанные слова, а внутренняя речь, передающая общее ощущение людей, вышедших на морозные и метельные улицы ночного Петрограда. Реакцией на это общее ощущение является сцена разговора, в котором голоса красногвардейцев психологически дифференцируются, хотя и остаются безымянными:

— А Ванька с Катькой — в кабаке...

— У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...

— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Здесь каждая из пяти реплик выделена знаком прямой речи и, следовательно, принадлежит одному лицу. Однако отсутствие авторских ремарок, указывающих кому именно принадлежат те или иные слова, позволило некоторым исследователям творчества Блока реплику: «— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, Мою, попробуй, поцелуй!» — приписать Петрухе, хотя из этой же сцены ясно, что он не мог ее произнести, так как и ему стало известно, что Ванька уже «очаровал» Катьку. Петруха вообще не участвует в разговоре о Катьке и Ваньке, его отношения с Катькой порваны, он стремится забыть о них. Однако про себя он реагирует на разговор товарищей, в репликах которых, несмотря на их индивидуальные оттенки, есть и общее: подспудная зависть к Ваньке. Звучит предостережение:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Этот призыв не отмечен графически как прямая речь, во-первых, потому, что он не обращен к красногвардейцам открыто, непосредственно, и, во-вторых, потому, что в нем сливаются голоса и автора, и Петрухи, и голос революционной эпохи. Нравственного смысла призыва остальные красногвардейцы не улавливают, хотя они слышат голос социального долга, который, усиливаясь к концу второй главы, перерастает в третьей в общую песню, объединяющую их в служении революционному долгу.

Нравственная глухота делает спутников Петрухи внутренние незащищенными перед провокацией искусителя Ваньки, который, как бы подслушав их завистливый разговор, начинает дразнить своих бывших товарищей: промчавшись с Катькой на лихаче один раз, он демонстративно появляется снова. Интересно, что Ванька в речевом симфонизме поэмы не имеет собственного голоса, так как у него нет музыки души — ни социальной, ни нравственной, это провокатор, которого красногвардейцы решают наказать и устраивают на него облаву.

Петруха вплоть до сцены облавы погружен в свои переживания-воспоминания, которые пробудило в нем появление Катьки, и он по-своему, не так, как его спутники, отвлекается от той цели, ради которой оказался в красногвардейском патруле. Его голос постепенно выделяется из общего хора («Ах ты, Катя, моя Катя, Толстоморденькая...») и в пятой главе перерастает в монолог, который не отмечен знаком прямой речи, так как является внутренним, не произнесенным вслух.

В шестой, кульминационной, главе поэмы Блок снова дает сцену общего разговора, но в ней нет знаков прямой речи; это сложный контрапункт речевой симфонии, в котором голоса внутренние борются между собой. Роль Петрухи в этой сцене вначале не была активной: его лишь пробуждают от воспоминаний о Катьке и вовлекают в облаву. Кто-то из красногвардейцев обращается к нему: «Петруха, сзади забегай!». Он вместе с другими начинает стрелять и, только разгорячась, внезапно осознает, что у него с Ванькой есть и личные счеты.

Ваньке удалось скрыться, и Петруха обещает ему: «Расправляюсь завтра я с тобой!»

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!
Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!

Голос Петрухи постепенно выделяется из общего хора, а затем (в гл. 7) и противопоставляется ему. Интонация беспокойства, глубокой горечи и сожаления переходит в злорадство и проклятие: Катька и сама виновата в своей судьбе («С офицерами блудила... С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь пошла...»).

Сцена общего разговора, как и во второй главе, завершается рефреном:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Это опять внутренняя речь, но теперь в ней слышны не только голоса автора и Петрухи, обращенные к другим красногвардейцам, отвлекшимся от своего «державного шага»: здесь есть и обращение поэта к Петрухе, Петрухи к самому себе, забывшему о музыке революционного долга. Искушение дорого стоило герою: скоро он узнает, что именно он, хотя и непреднамеренно, загубил Катьку, и преступление пробудит в нем муки совести.

В седьмой главе Блок снова дает сцену общего разговора, которая после интермедии, изображающей разгул, душевную депрессию и отрезвление, продолжается в десятой главе. Здесь, как и во второй главе, реплики всех участников разговора графически выделены, индивидуализированы, интонационно вычленены. Каждый из говорящих по-своему, кто мягко и дружески, а кто грубо и резко, пытается убедить Петруху, что ему не стоит огорчаться из-за смерти Катьки, но муки совести его не оставляют.

Более того, они подспудно связываются с именем Спаса. И тогда спутники еще раз пытаются воздействовать на беспокойную совесть Петрухи и трезвыми рассудительными доводами, и прямым приказом:

— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

Речевой полифонизм рефрена о революционном шаге и неугомонном враге после этой сцены общего разговора завершает свой внутренний цикл. Теперь рефрен графически выделен как прямая речь, звучит как открытое обращение к конкретному лицу; здесь уже не Петруха обращается к своим спутникам, а один из них к нему. И главное — здесь уже идет речь о другом «неугомонном враге», не об искушении, которое провоцировал Ванька, а о муках совести Петрухи, которые отвлекают не только его, но отчасти и его спутников от «державного шага».

Рефрен („— Шаг держи революционный! Близок враг неугомонный!“) еще и потому отмечен графически как прямая речь, что в нем не слышен голос автора, для которого муки совести Петрухи не являются «враждебными», в отличие от искушений Ваньки. Вместе с тем Блок присоединяет свой голос к общему призыву, который заменяет теперь рефрен о прежнем неугомонном враге:

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

Не случайно этот призыв не имеет графических помет прямой речи, так как везде, где их нет, мы обязательно слышим отчетливые или приглушенные голоса автора и революционного времени.

Голос Блока, которым начинается и кончается трагическая поэма о «русском строе души» в переломный, революционный период русской истории, в речевой структуре произведения звучит то лирически, то повествовательно-эпически, то сливаясь с голосами героев, то выделяясь из их хора, предоставляя ему звучать самостоятельно, но везде этот голос остается чутким к музыке революции. Именно эта чуткость позволила поэту создать бессмертную поэму и запечатлеть в ней «совершенно своеобразный» симфонический строй русской речи.

М. Ф. ПЬЯНЫХ



НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БЛОКА

Лирике А. Блока в начальный период творчества (1900—1905) свойственно тяготение к тайнам, даже к мистике, что было характерно для символистов. Это сказалось и на его поэтическом языке.

В стихах А. Блока этого периода мы находим множество новообразованных отвлеченных существительных с суффиксами -ость-, -изм-, -й-, -ний-, -ений-. Для создания новообразований с этими суффиксами поэт отбирал такие прилагательные и глаголы, семантика которых подчеркивает идею неопределенности, бесплотности, таинственности мира.

В мире Вечной женственности («Стихи о Прекрасной Даме»), раскрытом А. Блоком в ее различных образных воплощениях (Вечно-Юная, Прекрасная Дамы, Дева-Заря — Купина; Владычица вселенной; Таинственная Дева и т. д.), царствуют *глубинность, всевластность, осиянность, бессонность, свершенность, измученность, гневность, демонизм, всепознание, тайновидение* и т. п.

Для обозначения неопределенного, еще не оформившегося А. Блок умело выбирает производящие основы при образовании отглагольных существительных *зацветание*, а не цветение; *запевание*, а не пение. Это используется поэтом для передачи субъективных ощущений, неосознанных чувствований.

Нередко производящее слово является звеном в цепи символистских соответствий. Например, *лазурь, синевы* —

символы счастья, безмятежности, покоя, а поэт создает новообразование — *лазурность*, или белизна, снег, холод — символы чистоты, отрешенность высоких помыслов, а у Блока — *белость*, *снежность* и т. п.

Нас немного. Все в дымных плащах.
Брызжут искры и блещут кольчуги.
Поднимаем на севере прах,
Оставляем лазурность на юге.

«Фиолетовый запад гнетет...»

Поэт часто использует новообразования — прилагательные, созданные путем присоединения к основе приставки *без-* или отрицательной частицы *не-*. Семантика этих слов характеризуется моментом отрицательности, лишенности, запредельности: *беззакатные* звезды, *безмирный* хаос, *беззакатный* день, *безотзывная* душа, *бесслезный* взор, *безначальная* ширь, *безгневные* дни, *безогненный* взор, *нечисленный* хаос, *неуследимый* звон, *неразмыкаемый* круг и т. д.

Отрицательность, запредельность, лишенность, таинственная широта значений — вот что помогает А. Блоку, по его собственному выражению, постигать в обрывках слов туманный ход иных миров.

В произведениях 1905 — 1908 годов намечается отход поэта от мира потустороннего в мир действительности: «Пузыри земли», «Нечаянная радость», «Снежная маска», «Вольные мысли», «Город». Поэтическое слово А. Блока приобретает точное смысловое значение. В произведениях Блока этого периода мы находим множество сложных прилагательных, для создания которых он использует традиционные основы, но сочетаемость их у поэта необычна. Например, существительные *серебро* и *звезда* существуют в русском языке, а вот сближение их в одно слово находим только у Блока. Новообразование *сереброзвездная* необычное, но точное в смысловом отношении определение: «И с высот сереброзвездных тучу белую сорвал» (Здесь и там).

Блок, следуя поэтической традиции, для создания впечатляющих образов использует сложные образования, первая часть которых (злато, серебро и др.) часто встречается в произведениях Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Майкова. «В небе — звездные дороги, среброснежные чертоги» (Крылья); «Птица вьюги темнокрылой, дай мне два крыла!» (Тревога); «Опьянись же светлым хмелем, снежнооким будь и Ты...» (Серебристым, снежным хме-

лем...); «И стоял я мертволик, слушая, дивясь» («По зеленым обрываю...»).

Иногда для создания поэтической образности Блок употребляет существительные, построенные по модели безаффиксного способа словопроизводства: *таль*, *крепь*, которые несут на себе большую смысловую нагрузку.

С годами поэтический словарь А. Блока становится более точным и конкретным. Новообразования поэта помогают сосредоточить внимание на признаке, способствующем живописности, увеличивается емкость поэтического слова. Например:

Ступай, надменный чужевер,
Ты звону злата рад.
Наш бедный край угрюм и сер,
Но нам — узоры гор и шхер —
Отрада, слаще всех отрад,
Неоцененный клад.

Наш край

Новообразование *чужевер* — это оценочное обозначение лица, и в то же время — элемент стиля стихотворения.

В годы революции и гражданской войны А. Блок активно обращается к народно-поэтическим традициям. Поэт неуклонно движется от отвлеченного к конкретному, окончательно преодолевает беспредметность, загадочность и недоговоренность. Поэтический словарь его обогащается элементами живой разговорной речи.

Если для раннего Блока использование новообразованных абстрактных имен существительных являлось одним из средств поэтического ухода от мира действительности в царство зыбких абстракций, то теперь оно становится средством поэтической конкретизации явлений. Отсюда принципиальное отличие самого языкового материала для создания новообразований. Это — слова, обозначающие отрицательное или абсолютно непоэтическое качество или действие (стиль — *одностильность*, ритмичный — *ритмичность*, квадратный — *квадратность*, выпитый — *выпитость*, сбитый — *сбитость*, физиологичный — *физиологичность*).

Интересны в стилистическом плане новообразования *рабы* *труды*, *негуший* *гребень*, *курсятничество*, *задебренные* *кручи*, *лапососание*, *заагентурить*, а также: «Утреет. С богом! По домам» (Седое утро); «Принеvestилась морская глубина!» (Ее прибытие. Песня матросов); «Все сущее — увековечить, безличное — *вочеловечить*» («Ямбы. О, я хочу безумно жить...»).

В некоторых случаях ощущается близость новообразований к фольклорному языку. Например: «Щит ослепительно *сверкучий* сиял в разрыве синих туч» («Когда я создавал героя...»).

В произведениях А. Блока выделяются новообразования в области грамматической формы слова и, прежде всего, формы сравнительной степени от относительных прилагательных: «Тем кажется *железней*, непробудней» («Сквозь серый дым от краю и до краю...»); «Заграница мне вредна вообще, запах, говор, ... блохи (французские всех *мерзее* и неистребимее)» (А. Блок. Записные книжки. М., 1965). Эти формы сравнительной степени предполагают основы имен прилагательных *железный*, *мерзкий*. Значение же их говорит о том, что созданы они А. Блоком как известные формы, относящиеся прямо к соответствующим именам существительным. *Железней* — означает здесь усиленную степень свойства, сопоставимого с *железом*, как символом прочного, крепкого, тогда как прилагательное *железный* применимо только к обозначению качества в его отношении к материалу. *Мерзее* — усиленную степень свойства, которое сопоставимо с *мерзостью*. Можно сказать, что *железо* так относится к *железнее*, и *мерзость* так относится к *мерзее*, как большой к больше, крепкий к крепче. А. Блок образует также формы сравнительной степени от относительных сложных прилагательных: «Все бесконечней, *многогонней* журчат незримые струи». («Ночь все темней и благовонней...»), и от относительных прилагательных, мотивированных предложно-падежной формой имени существительного: «Но счастье было *безначальней*, чем тишина» («Нет имени тебе, мой дальний...»). Кроме того, выделяются краткие формы относительных прилагательных: «Дали слепы, дни *безгневны*» («Дали слепы...»); «У юношей *безогнен* взор» («Я вам поведал неземное...»); «Вспышки *тайновидны* и мгновенны» (Записные книжки).

Таким образом, новообразования А. Блока несут на себе большую смысловую нагрузку, являясь одним из средств создания поэтической образности. Анализ новообразований дает возможность проследить работу поэта над созданием более ясного, точного, емкого языка своих произведений.

А. М. КУЛЮКИН



ТРАДИЦИОННО- ПОЭТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В ЛИРИКЕ БЛОКА

В русской классической поэзии сложился фонд традиционных художественных средств языка — метафор, сравнений, перифраз, употребление которых придает художественному произведению особый «поэтический» колорит. Но постепенно образная основа традиционных формул утрачивается и, закрепляясь за строго определенными контекстами, они как бы застывают и переходят в разряд штампов. Но поэт, привлекая традиционные элементы, может заново переосмыслить их: «... к связанному с этой формулой традиционному общему значению прибавляются новые индивидуальные значения, которые совмещаются в едином поэтическом образе» (Д. Н. Шмелев. Слово и образ. М., 1964).

В своей лирике Александр Блок (особенно в пору литературной зрелости) редко употребляет традиционные метафоры. Он старается их обновить.

Как же преобразовывает А. Блок традиционные «поэтизмы»? Он использует распространенный еще в классицизме способ замены ядра традиционного метафорического сочетания словом, близким по значению. Сравните, например, варианты традиционного сочетания «дорога жизни» — «жизни сей кратка *стезя*» (М. М. Херасков. Прошедшее), «И мой тернистый *путь* усеян был цветами» (В. Ф. Раевский. Мое «прости» друзьям), «Проходит век мой темный В безвестности заглохшую *тропой*» (А. С. Пушкин. Сон), и т. д.

Следует различать два типа подобных преобразований, когда вводимое в сочетание слово может отличаться от прежнего семантическими оттенками и когда различие между ними заключено в стилевой принадлежности.

Первый вариант изменений легко прослеживается при анализе блоковских метафор с так называемыми глаголами горения, среди которых выделяются две главные семантические группы. Одна включает глаголы, обозначающие стадию глагольного действия (зажигать — гаснуть — потухать и т. д.), другая — интенсивность действия (пылать — пламенеть — палить — жечь — тлеть — греть и т. д.).

Новый компонент, который автор вводит в метафорическое сочетание, принадлежит, как правило, к одной из данных семантических групп. Так, появляется глагол *заниматься* в значении 'начать гореть': «сердце занялось» («Я долго ждал — ты вышла поздно...»); «страстью длинной, безмятежной занялась душа моя» («Страстью длинной, безмятежной...»); «розовой зорькой душа занялась» (Вербная суббота) (Здесь и далее цитируется по изданию: Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах, М. — Л., 1960).

Этот глагол, приобретая переносное значение 'начать испытывать любовное волнение' употребляется в составе метафор, обозначающих зарождение чувства.

Особый интерес представляет сочетание *розовой зорькой душа занялась*. Оживление «вещности» слова-образа обусловлено не только необычностью самого глагола-метафоры. Символ *розовая зорька* выступает как противопоставление традиционным обозначениям страсти — *пламя, пожар*. При этом новый образ, не теряя связи с традиционным, воспринимается как бы на его фоне.

Различия в характере глагольного действия (например, оттенок интенсивности чувства) могут быть представлены сочетаниями:

Она, распаленная страсти огнем,
Мне сердце расплавить хотела.
И жгла меня ночью, светила мне днем,
Любовным желаньем кипела.

«По темному саду брожу я в тоске...»

Другой способ обновления традиционных формул — замена компонента метафоры словом с иной стилевой окраской.

Поэты нового века начинают широко использовать разговорно-просторечную и фольклорную лексику, ранее на-

ходившуюся за пределами поэтического языка. Например: «жар юности простыл» («Когда осилила тревога...»); «дай мне пахучих, душных зелий// И ядом сладким заморочь» («Ищу огней — огней попутных...»); «крестом сияло брюхо на народ» (Двенадцать). Последний пример из поэмы «Двенадцать» интересен соединением лексических изменений с нарушением привычных синтаксических связей. В конструкции *крестом сияло брюхо на народ* обычным было бы употребление предложно-надежного сочетания с традиционной метафорой (ср. крест сиял на брюхе). Взаимозамена подлежащего и обстоятельства влечет за собой и требуемое автору выдвижение просторечного слова *брюхо*, выступающего теперь в качестве субъекта действия. Выделение этого необходимого поповского «атрибута» поддерживается ритмическим рисунком строфы (положение слова в начале строки после паузы) и повтором-анафорой:

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..

Эту возможность «оживления» традиционных сочетаний Блок использует менее активно, строго мотивируя свой выбор стиливой направленностью произведения.

Один из наиболее действенных способов разрушения поэтических штампов заключается в особой организации контекста: образные слова и слова, семантически с ними связанные, употребляются в одном произведении и в прямом, и в переносном значениях. Это приводит к многоплановости значений повторяющихся слов.

Блок сравнительно часто обращается к этому способу обновления поэтической фразеологии. Очевидно, это связано с особым вниманием поэта к форме стиха, окончательным становлением и совершенствованием собственной системы образно-языковых средств.

Примеры метафорически двуплановых стихотворений Блока — «Я пригвожден к трактирной стойке...», «Уже над морем вечереет...», «Не затем величал я себя паладином...», «Уж вечер светлой полосой...», «Я бремя похитил, как тать...» и другие. Интересно в этом отношении стихотворение «Не затем величал я себя паладином...»:

Не затем величал я себя паладином,
Не затем ведь и ты приходила ко мне,
Чтобы только рыдать над потухшим камином,
Чтобы только плясать при умершем огне.

Или счастье и вправду неверно и быстро?
Или вправду я слаб, уже, болен и стар?
Нет! в золе еще бродят последние искры,
Есть огонь, чтобы вспыхнул пожар.

Стихотворение строится на сопоставлении прямого и метафорического значений существительного: «огонь» — «пламя», «пожар» и «огонь» — символ прежней жизни, полной чувств и стремлений. Этому способствует композиция стихотворения (оба наименования замыкают каждую строфу), а также логико-предметная соотнесенность членов ряда «потухший камин — умерший огонь — зола — искры — огонь — пожар», из которых четыре последних многоплановы и соединены по степени возрастания признака. Это приводит к гиперболизации чувства (если «искры» — любовь, то «пожар» — страсть). Синонимы *огонь* — *пожар* в контексте дифференцируются, утрачивая свою синонимичность.

Метафора у Блока не единичное художественное средство, а элемент его образного мышления. Раз возникнув в сознании, образ продолжает развиваться по своим внутренним законам, образуя сложное целое. Исходная (часто традиционная) метафора поддерживается метафорическим употреблением окружающих ее слов. Здесь наблюдаются некоторые закономерности.

Последовательно развиваясь, такая метафора перерастает в тему стихотворения, из отдельного тропа превращается в поэтическую реальность. Текст сохраняет смысл как при прямом, так и при переносном употреблении слов — элементов метафорического сочетания:

Мне вечность заглянула в очи,
Покой на сердце низвела,
Прохладной влагой синей ночи
Костер волненья залила.

«Она, как прежде, захотела...»

логически допустимо «залить костер влагой».

Иногда направление развития метафоры диктуется общей идеей произведения:

Воск души блаженной тает
На яром пламени свечи.

Инок

Религиозная тема стихотворения определяет закономерность метафоры *воск души*, являющейся ядром метафорического образования, и характер окружения — эпитеты *блаженный* и *ярый*. Все сочетание приобретает значение

‘испытывать легковосприимчивой душой сильное любовное волнение’.

Иногда поэтический образ вступает в противоречие с вещественным значением слов. Это явление, известное еще со времен Аристотеля, в поэтике называется катахрезой. В значении слова начинает преобладать эмоциональная сторона, которая как бы поглощает его вещественную определенность. Тогда становятся поэтически оправданными такие логически недопустимые сочетания, как: «кругом рыдала и звенела, как в вешней роще, тишина; жгли смеженные глаза» («Смычок заплел. И облак душевный...»), или целые метафорические картины —

Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.

«Черный ворон в сумраке снежном...»

Рассмотренные примеры касались, в основном, изменений в структуре метафоры. Однако традиционные формулы, сохраняя свою целостность, могут переосмысливаться в зависимости от их применения в тексте поэтических произведений.

Размышляя об этом, Блок отмечает в своей записной книжке: «Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое. ... бесформенное содержание само по себе не существует, не имеет веса» (Записные книжки Ал. Блока. Л., 1930).

Справедливость этого положения доказывается всей литературной практикой поэта.

Так, из его поэтической фразеологии выделяется обширная группа метафор, уподобляющих чувство жидкости. Сочетания такого типа были известны еще в библейской мифологии. Их использовали поэты XVIII и XIX веков: Державин, Батюшков, Пушкин, Баратынский.

Но в лирике Блока наряду с традиционными метафорами с опорными глаголами *лить* и *кипеть* — «кипит веселье» («Мы живем в старинной келье...»), «страсть закипела в груди» («Жизнь, как загадка, темна...»), «любовным желаньем кипела» («По темному саду брожу я в тоске...»), «пролил в сердце жар глубокий» («В седую древность я ушел, мудрец...») встречаются и другие сочетания.

Используя уже сложившиеся формы, Блок уподобляет жидкости мечту. И это не случайно. В соответствии с эстетической установкой символистов действительность представляется Блоку текучей, зыбкой, она в постоянных переходах, поисках ускользающего идеала — мечты: «на волнах

моей мечты» («Ходит месяц по волне...»), «широко и прихотливо покачнулась гладь мечты» («Тянет ветром от залива...»), «исчерпать влажные мечты» («Глухая странность бытия...»). Интересно, что в метафоре *гладь мечты* скрытое сравнение мечты с жидкостью обусловлено логико-семантической соотнесенностью слова *гладь* с представлением о водной поверхности.

Таким образом, традиционная символика в зависимости от эстетического восприятия Блока приобретает совершенно новое звучание.

Александр Блок, воспринимая языковое наследие прошлого, использовал традиционную поэтическую фразеологию, идейно переосмысливая и перерабатывая ее, возвращая ей былую яркую образность.

Н. А. КУЗЬМИНА

Ведь именно «литератор» есть человек той породы, которой суждено всегда, от рождения до смерти, волноваться, ярко отпечатлеть в своей душе и в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени. Для писателя — мир должен быть обнажен и бесстыдно ярок. Таков он для Толстого и для Достоевского. Оттого — нет ни минуты покоя... Ничего «утомительнее» писательской жизни и быть не может.

А. Блок. Письмо к В. В. Розанову. 1909

Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано... Что же задумано? *Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».*

А. Блок. Интеллигенция и Революция. 1918

Великие художники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, — погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как и весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянии, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно *все будет по-новому*, потому что *жизнь прекрасна*.

А. Блок. Интеллигенция и Революция. 1918

Стилистический прием в прозе Л. Леонова

Леонид Леонов в своей прозе для подчеркивания в слове оттенков смысла помимо реального его содержания использует графическое выделение слова. Этот стилистический прием употребляли многие писатели. Например, курсив — излюбленный прием у Ф. М. Достоевского. Как отмечает А. В. Чичерин в книге «Идеи и стиль» (М., 1968), в пределах каждого романа Достоевский создает новую систему «понятий», «переносит смысл и накал всего предыдущего в самые простые, сами по себе ничего особенного не значащие слова, часто отмечая их курсивом».

Л. Леонов, во многом продолжая творческие традиции Достоевского, тоже пользуется графическим выделением слова (курсивом, разрядкой). Это слова-намеки, слова-усилители, слова-умолчания. Уже в произведениях раннего периода, например, в романе «Вор», Л. Леонов, создавая определенный фон повествования, графически выделяет слова воровского жаргона, диалектные, неологизмы.

Повесть «*Evgenia Ivanovna*» — высший этап в стилистических исканиях Леонова. Как во всяком значительном художественном произведении в ней нет ничего случайного, и графическое выделение некоторых слов является одним из элементов системы разнообразных изобразительных средств писателя.

Графическое выделение, разрядка слова, в повести представлено широко и стилистически разнообразно: выделяются русские слова, несущие особую смысловую нагрузку, некоторые иноязычные слова и некоторые имена собственные.

Уже само название повести, в котором русское имя героини дано в латинской транскрипции, определяет основное идейно-тематическое содержание повести: судьба русской женщины, потерявшей родину, ставшей в конце концов английской подданной с нерусским именем Женни.

Функции графически выделенных слов разнообразны. Так, в репликах Евгении Ивановны получают новое смысловое наполнение слова, связанные с понятием *дом, родина*. Находясь в эмиграции, героиня страстно стремится домой, на родину, в Россию, в маленький степной городок. Пытаясь объяснить мужу-англичанину свою тоску по России, Женя говорит: «Так не сердитесь же, я сделана из этой земли, милый»; «Значит, людям большого ума легче, чем нам, маленьким, пускать корешки в чужую почву». Сделав решающий выбор, сменив родину, Евгения Ивановна едет в Англию, которая теперь должна стать ее домом. В репликах ее выделяются слова, значение которых переосмысливается в данной ситуации: теперь для нее дом там, где будет ребенок, муж — семья: «...мне ужасно захотелось домой... никуда больше, только домой!»; «Мне давно хочется посмотреть Лондон, я должна знать свою столицу. Наш дом далеко от университета?». Так видоизменяется в сознании героини один из центральных образов повести — образ родины, России. Но «чисто русская горесть» приводит героиню к гибели. Английские медики объяснили смерть Жени послеродовым осложнением, но их диагноз, замечает автор, был бы точнее, если бы они учли русское понимание ностальгии как тоски по родине: «Под недугом ностальгии там (в Англии) подразумевается всего лишь далеко не смертельное недомогание от изменения климатических условий, разрыва с привычной средой, обедненного общения с людьми на чужом языке».

Графически выделяются слова, семантически особо значимые, являющиеся как бы вехами, опорными точками сюжета, его координатами. Сюжетная линия Женя — Стратонов определена Леоновым как «одно совместное, досадно подзатынувшееся приключение». К кульминации — встрече героев в Грузии и объяснению их — читателя подводят слова, данные в разрядку, которые автор составил заранее: *главное приключение; что-то главное; это, разговор*: «...за неполных три недели, оставшиеся им до главных приключений поездки, Пикеринги последовательно посетили развалины трех хеттских крепостей...»; «...заезд в Кахетию давал ей время до наступления чего-то главного и совсем придвинувшегося додумать все то, чего из-за тряски или волнения так и не успела в дороге»; «...разрешите по-русски: об этом трудно на иностранном диалекте»; «Здесь, ввиду начавшегося разговора, он попросил дозволения покинуть ее на минутку». Выделенные слова — это своеобразные слова-умолчания, смысл которых раскрывается в контексте повести. Главное — это не только встреча Жени со Стратоновым, но и главный вопрос для Жени — выбор своего будущего, своей родины; разговор-объяснение — это казнь ничтожного, непорядочного человека.

Графически выделенным может быть слово-намека, обозначающее то, что известно другому лицу и вызывает образы пережитого. В основной сюжетной линии такими словами-намеками являются местоимения и наречия, значения которых определяются в перспективе всего текста повести: «Гулкий молитвенный полумрак стоял в храме, и как бы из благоговения к тишине Стратонов читал свою лекцию чуть не в самое ухо Евгении Ивановны, но она-то знала — по ч е м у, и, не смея отодвинуться из страха еще большего сближения, она по холодку на щеке узнавала, как он ловит ноздрями разделяющий их воздух»; «А вы уверены, что испробовали для этого все средства, имевшиеся в вашем распоряжении?».

Выделенное слово может выступать как лексический показатель несобственно-прямой речи. Леонов вводит в авторское повествование наряду с синтаксическими конструкциями лексику, характерную для того или иного персонажа, совмещая авторское восприятие и восприятие героя: «Венчание, как и саму жизнь заодно, старушки постановили отложить до минования с м у т ы»; «Она долго копила решимость на легкий выход из положения: только бы не в этот выход из дому, а в другой»; «Мистер Пикеринг кинул жалобный взор на жену, ради которой с утра терпел чисто русские переживания».

Иногда графически выделенное слово, обычно местоимение, употреблено вместо другого слова, которое автор или персонаж по разным причинам не хотят назвать. Это тоже своеобразные слова-умолчания: «Муж буквально заболевает от некоторых сортов габака». В этом замечании Жени, обращенном к Стратонову, где слово некоторых имеет значение 'плохих, дешевых', ясно желание героини не только подчеркнуть материальное благополучие своей новой семьи, но и оценить бедственное положение своего бывшего мужа. В дальнейшем Стратонов, ничего не забывший, использует тот же прием намека: «...Нет, в самом деле, миссис Пикеринг, мы все в Тифлисе, от самого Хахулии до начальника отдела кадров, все время любовались на вашу счастливую чету и, сравнивая старую гвардию с нашим непрочным, опаленным поколением, коллективно дивились его способности в таком возрасте сохранять столь завидный жар души...». В данном контексте слово та кой получает значение 'пожилой, старый, преклонный'. Эвфемистически используется местоимение оно в авторском повествовании: «Неодолимая тошнота подступила к горлу Евгении Ивановны, швырнула ее на колени, едва успевшую на несколько шагов отбежать от гида. Несмотря на попытку сдержаться, зажать рукою рот, он о прорвалось сквозь пальцы».

Стилистическая функция иноязычных слов, выделенных рядкой, заключается в создании фона произведения. Эти слова

усиливают местный колорит повествования. Герои путешествуют по странам Древнего Востока, и автор выделяет детали, местные названия явлений природы, предметов быта, позволяющие определить путь их следования: «...суховейный вихрь, сирийский ш м у к, легонько задувал с востока»; «Турецкая часть путешествия пролегла через крайнюю глухомань, с непременно посещением исторически примечательных пунктов, куда путешественники добрались в трясучих, пыточного типа повозках, т а ш а б а р а с а х, и где их ждали непропеченные лепешки ю ф ф к а с горстью козьего сыра на обед». «Evgenia Ivanovna» — кавказская повесть. Следуя традиции «кавказских повестей» в русской литературе, Леонов разворачивает кульминацию своего повествования — решение жизненно важного для героини вопроса — на фоне великолепных картин природы Кавказа и обычаев жителей этого края. Кавказ не только бытовой, но и поэтический фон повести, даже действующее начало ее. Он входит в центральный образ — образ родины, и автору необходима в описании особая точность деталей. Грузинские слова являются той художественно оправданной и эмоционально насыщенной деталью. Они вводятся в русский текст по-разному. Грузинские слова, широко известные и за пределами Грузии, даются без пояснения, например, т а м а д а. Значение других ясно из ближайшего контекста: «Телавские гончары, свесив тяжкие руки меж колен, сидели на корточках возле своих творений — в пределах от детских безделок и свистулек на три пронзительных ноты до стоведерных узкогорлых ч о р, впрок зарываемых на усадьбе с крестьянским вином»; «...таинственная мелодия, выполняемая на т а р и...». Пояснения грузинских слов, включенные в контекст, имеют характер замечаний, усиливающих окрашенность описания: танцоры, «взявшись за руки, раскачивались в двойном хороводе, пер х у л и»; «...чередовались гулкие удары бубна, местной д а й-ры...»; «...один из телианцев привел из ночи слепых певцов, м е с т-ви ре...»; «...отставив подальше недопитое м а д ж а р и, молодое вино...»; «Пожилые грузинки... все трое в одинаковых головных, с серебром, уборах, ч и х т а - к о б и».

Усиливают местный колорит и указанные автором особенности произношения некоторых персонажей: «Ай-ай, закаленный такой вояка, а выглядывает, как б а л н о й бабушка»; гид «...из б у р о путешествий».

В повести «Evgenia Ivanovna» представлено все то характерное, леоновское, что есть в каждом произведении этого писателя: тонкий лиризм и психологичность, умение раскрыть «диалектику души», яркий и сочный язык и индивидуальная авторская неповторимость стиля. Графическое выделение слова — один из многих стилистических приемов писателя.

Н. П. ЛЮЛЬКО



Лингвостилистический
анализ

«УТЕС»

М. Ю. Лермонтова

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

В центре стихотворения — два образа, взаимосвязанных и в то же время противопоставленных друг другу. Строятся они по принципу романтической символики: *тучка* олицетворяет существо женского пола, *утес* — мужского, грамматическая категория рода существительных фиксирует противопоставление этих двух начал, становясь важным элементом смысловой структуры произведения.

Процесс олицетворения начинается с первого же слова текста, с глагола *ночевала*, отнесенного к *тучке*, хотя обычно он сочетается только с существительными, обозначающими живые существа, и вызывает поэтому у читателя соответствующие ассоциации. Во второй строке образ тучки обретает большую конкретность благодаря противопоставленности *утесу*, который в первый же момент своего появления в тексте олицетворяется через метафоры *грудь* и *великан*.

Последующее «очеловечение» двух главных образов стихотворения реализуется посредством переноса признаков и действий одушевленных предметов на неодушевленные: в путь она *умчалась* рано, по лазури *весело играя*; в морщине старого утеса; он стоит, *задумавшись глубоко*, и *тихонько плачет*...

Весь контекст приводит к тому, что *тучка* и *утес*, будучи наделены чертами живых, человеческих существ, перестают быть простыми атрибутами природы и становятся образами-символами.

Тучка — символ прекрасного (что подчеркнуто и эпитетом *золотая*), причем контекст не выделяет какое-то одно определенное значение его, а оставляет возможность двоякого толкования: 'прекрасная' (ср. золотое время) и 'золотого цвета' (озаренная лучами заходящего или восходящего солнца). Дополнительное значение неудержимого и беспечно-свободного движения создается контекстом: «Утром в путь она *умчалась рано*, По лазури *весело играя*».

В изображении Утеса внутреннее состояние раскрывается непосредственно: «*Одинок*о он стоит, *задумался глубоко* И *тихонько* плачет он в пустыне».

Большую смысловую нагрузку во второй строфе несут слова *одинок*о и *пустыня*. Это ключевые слова, которые фиксируют важнейшую особенность в характеристике романтического героя — одиночество. Для сравнения приведем строки из других стихотворений Лермонтова: «Белеет парус *одинок*ий», «Выхожу *один* я на дорогу...»; «На севере диком стоит *одинок*о...», где слова *одинок*ий, *один*, *одинок*о выступают в аналогичной роли.

Слово *пустыня* своим содержанием подчеркивает и обнажает упомянутое характерное состояние лирического героя: это не географическое понятие (хотя оно и лежит в основе образа), а выразительный символ — 'безлюдное пространство', та окружающая среда, в которую ввергнут романтический герой:

В толпе людской и средь *пустынь* безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас.

Памяти А. И. Одоевского

И снится ей все, что в *пустыне* далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет.

«На севере диком стоит *одинок*о...»

Выхожу *один* я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

«Выхожу *один* я на дорогу...»

Как показывают эти примеры, метафорическое употребление слова *пустыня* связано с прямым значением, вызывающим в памяти читателя ассоциации реального, географического плана. Следует отметить, что ключевые слова *один*, *одна* и *пустыня* появляются иногда в одном контексте, создавая особый «обобщенный» южный колорит, характерный для многих стихотворений Лермонтова.

Принцип олицетворения, на основе которого создаются образы «Утеса», обуславливает окрашивающий произведение глубоко элегический эмоциональный тон.

Синтаксическое построение «Утеса» своеобразно: оно включает два сложносочиненных предложения, причем первое из них заканчивается во второй строфе. Компонент первого предложения, переходящий в следующую строфу, присоединяется противительным союзом *но*, который разделяет образы-символы Тучки и Утеса, противопоставляя их друг другу и тем самым выполняя важную композиционную функцию: сразу выявляется отношение между главными элементами образной системы произведения.

Второе сложносочиненное предложение завершает развитие темы Утеса и фактически состоит из трех компонентов. Создается смысловая градация, фиксирующая разные ступени выявления внутреннего состояния романтического героя: *Одиноко он стоит; задумался глубоко; И тихонько плачет он в пустыне.*

Компоненты сложных предложений относительно просты по своей структуре: лишь один из них осложнен деепричастным оборотом (по лазури весело играя). Порядок слов близок к обычному: это касается расположения как главных членов предложения, так и членов словосочетаний. Из имеющихся отклонений следует выделить препозицию глагольных форм *ночевала*, *остался*, инверсию *тучка золотая* и препозицию обстоятельства *одиноко*.

Инверсия глагола *ночевала* важна в плане композиционном (дает начало процессу олицетворения), в экспрессивном (сообщает глаголу усиление), в функционально-стилистическом (такое положение сказуемого характерно для народной поэзии).

Художественно обусловлена и постпозиция прилагательного *золотая*. Порядок слов способствует формированию фольклорных художественно-экспрессивных обертонов «стилевой доминанты» произведения.

Синтаксическое членение неодинаково соотносится со стиховым в разных строфах: в первой — границы стихового членения совпадают с границами относительно самостоятельных по смыслу и интонации частей предложений, так что переносы не образуются; а во второй — лишь в четвертом стихе наблюдается совпадение стихового и синтаксического членения (*И тихонько плачет он в пустыне*), в остальных возникают переносы: *«Но остался влажный след в морщине // Старого утеса. Одиноко // Он стоит, задумался глубоко...»*.

Паузы и переносы, способствующие выявлению драматизма внутреннего состояния лирического героя или ситуации, нередко

встречаются и в других произведениях Лермонтова: «Я ждал, схватив рогатый сук, Минуту битвы; сердце вдруг // Зажглося жаждою борьбы // И крови... да, рука судьбы // Меня вела иным путем...» (Мцыри).

Перенос преобразует интонацию, сообщает ей ломаный, прерывистый характер, нагнетая напряженность и повышая экспрессивность. Благодаря переносам ключевые образы получают заметное усиление: «... в морщине // Старого утеса»; и особенно значительное — ключевое слово «Одиноко, // Он стоит...». Таким образом, различное соотношение стихового и синтаксического членения в «Утесе» не только увеличивает смысловую «весомость» слова, но и предопределяет образование разных типов стиховой интонации. В первой строфе она ближе к «напевному типу», чем во второй. Следовательно, с каждым из ключевых образов связана интонация определенного рисунка, которая дополнительно подчеркивает их различие.

Звуковая и ритмомелодическая организация «Утеса» выявляется прежде всего в общей музыкальности стихотворения, в четкости межсловесных границ, приходящихся на звуки сильной контрастности, в многочисленных повторах-ассонансах и аллитерациях.

Примечательно распределение важнейших ассонансов-созвучий на *а* в пределах первого сложного предложения, на *а* // *о* — в пределах второго, что по-своему оттеняет различие двух взаимодействующих тем, двух образов. Ассонанс на *о*, кроме этого, объединяет однородные в смысловом и синтаксическом плане слова *оди́ноко*, *глубо́ко*, *тихо́нько*, выполняя художественно-экспрессивную функцию. Звукопись стихотворения, взаимодействуя с содержанием, усиливает выразительность текста.

Относительно рифмы заметим только, что, упорядочивая ритмомелодическую структуру стихотворения, она сообщает некоторое усиление и рифмующимся словам. Это особенно важно для образов, занимающих в предложении необычную для них позицию инверсированного члена.

Стих «Утеса» — пятистопный хорей, однако схема его реализована полностью лишь в одной строке: «Утром в путь она умчалась рано» (/◡/◡/◡/◡/◡), в остальных же — она нарушается множеством пиррихий (стоп с пропущенным ударением).

Ритм в сочетании с женской рифмой делает интонацию стиха напевной и замедленной, что способствует выявлению медитативно-элегической тональности произведения.

Примечателен характер отклонений от ритмического фона в разных строфах: в третьей строке первой строфы реализуется стандартная схема пятистопного хорей, а предельная концентра-

ция ударных слогов ускоряет ритм; в первой строке второй строфы появляется лишний, по сравнению со схемой, образующей фон, ударный слог, усиливающий энергию ритма и фиксирующий противопоставление (Но остался влажный след в морщине...). Во второй строке — разрядка ударных слогов, разделенных пиррихиями, ритм замедляется, плавность стиховой интонации нарушается, что отмечает поворот в развитии темы и способствует формированию новой интонации.

В «Утесе» экспрессивность локализована преимущественно в первых трех строках каждой строфы. Четвертые же строки отличаются в этом плане сдержанностью, тем заметнее выступает их смысловая контрастность и большая эмоциональность самой, «тихой» — последней строки.

В восьми строках стихотворения Лермонтова вместились огромное содержание — конкретное воплощение «романтического двоемирия» и вместе с тем предопределено его наиболее вероятное, хотя и не единственное возможное истолкование.

Л. Ф. ТАРАСОВ

Харьков

Умейте благоговейно слушать народную речь. Для вас, литераторов, не может быть слаще музыки. Эта такая же радость, как сидеть у родника и следить за игрой живых подземных струек. Какая многогранность народной жизни слышится порой в ее кажущемся иному снобу косноязычии! Так, в народной речи нередко отсутствует эпитет, вместо которого часто применяется так называемая ракурсировка прилагательных, глагола. В народной речи слова несут в себе еще первозданное свечение и звучание. Поразительна при этом скупость — отнюдь не за счет емкости! — народного языка.

Л. Леонов. Талант и труд. 1956



Сочетания с непроизносимыми согласными

В словах *пóздно*, *пóздний*, *звёздный*, *праздник*, *наездник*, *праздний* и других звук [д] не произносится. Только в отдельных словах книжного происхождения, при очень отчетливом произношении звук [д] (вернее, наличие затвора, нужного для [д]) сохраняется: бé[з^дн]а, безвозмé[з^дн]ый.

Сочетание *стл* (с мягким [л']) также произносится без среднего элемента [т]. Слова *счастлйвый*, *сбвестлйвый*, *жáлостлйвый*, *учáстлйвый*, *завйстлйвый* и другие произносятся: сча[с'л']ивый, сове[с'л']ивый, жáло[с'л']ивый, учá[с'л']ивый, завй[с'л']ивый. В слове *хвастлйвый* в отчетливой речи может сохраниться затвор, нужный для [т]: хва[с'тл']йвый. Этот затвор обычно сохраняется в словах *костлявый* и *постлáть*. Произносится: ко[с'тл']áвый, по[с'тл']ать. Слова *послать* и *постлáть* только в очень беглой речи могут совпадать в произношении.

В сочетании *ндск* согласный [д] обычно не произносится. Поэтому слова *голлáндский*, *ирлáндский*, *шотлáндский*, *фламáндский*, *исландский* и другие произносятся: голлá[нс]кий, ирлá[нс]-кий, шотлá[нс]кий, фламá[нс]кий, ислá[нс]кий. Отметим, что в географических названиях, относящихся к зарубежным странам, согласный на месте *д* в сочетаниях *ндск* может сохраняться, например: Зó[нцс]кие острова.

В сочетании *нтск* звук [т] не произносится только в отдельных наиболее употребительных словах. Например, *гигантский*: гига́[нс]кий. Чаще же на месте [т] произносится [ц]: док-то-ра́[нцс]кий, ташкé[нцс]кий и другие. В некоторых случаях отмечается колебание произношения [нс] — в беглой речи и

[нцс] — в речи отчетливой: гига́[нс]кий и гига́[нцс]кий, ассисте[нс]кий и ассисте[нцс]кий.

Существует некоторое различие между произношением *ндск* (где [д] оглушается перед [с] в [т]) и *нтск*: на месте *д* согласный не произносится, а на месте *т* сохраняется. Это обстоятельство объясняется тем, что звонкие взрывные согласные имеют более слабый затвор сравнительно с глухими взрывными. Естественно, что утрата согласного происходит при более слабом затворе. Именно поэтому *голландский* и *комендантский* могут произноситься неодинаково: голла́[нс]кий и коменда́[нцс]кий (впрочем, в беглой речи возможно и произношение коменда́[нс]кий).

Сочетание *ндц*, *нтц* между гласными произносится без согласного на месте *д*; слова *голла́ндцы*, *фламáндцы*, *ирла́ндцы*, *шотла́ндцы*, *браба́нты* произносятся: голла́[нц]ы, флама́[нц]ы, шотла́[нц]ы, ирла́[нц]ы, браба́[нц]ы.

Сочетания *ндк* и *нтк* в отдельных заимствованных словах, укрепившихся в разговорной речи еще до Великой Октябрьской революции, произносятся без согласного на месте *д* или *т*: голла́[нк]а (печь), гуверна́[нк]а. Однако слово *голла́ндка* — жительница Голландии, произносится с согласным [т] на месте *д*: голла́[нтк]а. Так же (то есть с согласным [т] на месте *д* или *т*) произносятся и другие слова со значением лица женского пола: ирла́[нтк]а, шотла́[нтк]а; лабора́[нтк]а, клие́[нтк]а, официа́[нтк]а и другие.

Слова *се́рдце*, *се́рдцевина*, *се́рдчишко* произносятся без согласного на месте *д* в сочетаниях *рдц*, *рдч*: се́[рц]е, се[рц]евина, се[рч']ишко. Отметим также слово *серчать*, которое даже пишется без *д*, хотя словообразовательно связано со словами, имеющими в корне *д*: *сердце*, *сердитый*, *сердиться*.

Слово *со́лнце* произносится без согласного на месте *л*: со́[нц]е (ср. наличие [л] в словах того же корня *солнечный*, *солнышко*).

В сочетании *вств* на месте первой буквы *в* согласный не произносится в двух основах: *чу́ств-* и *здрáвств-*. Мы говорим: чу́[ств]о, чу́[ств]овать, бесчу́[с'т'в]енный и т. д.; здра́[ств]уй, наздра́[ств]оваться и т. д. При этом отметим, что в слове *чувство* и других однокоренных согласный на месте первой буквы *в* в сочетании *вств* пишется лишь на основании традиции и этимологии слова. Почти то же можно сказать об этом сочетании и в словах *здрáвствуй*, *здрáвствуйте*, так как эти приветствия при встрече семантически довольно далеко отошли от слов *здрав* // *здоровье*.

В других случаях согласный на месте первой буквы *в* в сочетании *вств* сохраняется: пра́[фс'т'в']енный, де́[фс'т'в']енный,

лука[фств]о, колдо[фств]о́, рыболо́[фств]о, воро[фств]о́, отцо́[фств]о. Отметим, что в приведенных примерах первый согласный сочетания *вств* легко выделяется из родственных слов: пра́вы, де́ва, лука́вый, колдова́ть, рыболо́вы, ворова́ть, отцо́ва.

Р. И. АВАНЕСОВ,

член-корреспондент АН СССР,
профессор Московского университета

КУЛЬТУРА СПОРА

Далеко не всегда герой литературного произведения подтверждает характеристику, данную ему автором: автор говорит, что герой — человек тактичный, а читатель видит, что герой поступает бестактно; автор говорит, что герой остроумен, но не может этого показать, шутки героя неудачны, остроты плоски, пошлы. И. С. Тургенев выделяет в романе «Рудин» блестящее красноречие героя («Рудин говорил умно, горячо, дельно...»), его умение убеждать. И эта характеристика подтверждается. Читатель может убедиться в том, насколько Дмитрий Рудин владеет словом.

Мы вспомнили роман Тургенева вовсе не для того, чтобы анализировать его художественные достоинства или разбирать характеры персонажей. Нас в данном случае интересует другое: в романе противопоставлены две манеры, два способа ведения полемики. Первый олицетворяет «озлобленный противу всего и всех» господин Пигасов, о котором сказано: «В споре он сперва подтрунивал над противником, потом становился грубым...». Совершенно иной тактики придерживался Рудин; он возражал со «спокойствием и изящной учтивостью». Как же учтивость побеждает грубость? (Ведь Пигасов совершенно разбит в споре, уничтожен.)

Тургенев показывает нам это на первых же страницах. Пигасов резко выступает против «умствований», «убеждений», «рассуждений», ему нужны факты, голые факты:

«— Общие рассуждения! — продолжал Пигасов, — смерть моя эти общие рассуждения, обозрения, заключения! Все это основано на так называемых убеждениях; всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним требует, носится с ними... Эх!..

— Прекрасно! — промолвил Рудин, — стало быть, по-вашему, убеждений нет?

— Нет — и не существует.

— Это ваше убеждение?

— Да.

— Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.

Все в комнате улынулись и переглянулись».

(И. С. Тургенев. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1954).

Оригинальное и сильное средство использовал Рудин. Но не он его придумал. Древнегреческие софисты, видя слабость человеческих чувств и разума и не видя их силы в познании мира, провозгласили: «Истинных суждений не существует». Им возразили: утверждение «истинных суждений не существует» само является суждением. И если верно, что истинных суждений нет, то, следовательно, и это суждение неистинно, а верно другое, противоположное — истинные суждения есть.

Легко увидеть во всех этих опровержениях одну схему, один прием. Конечно, опровергнуть тот или иной тезис можно по-разному. Скажем, доказать то, что истинные суждения существуют, можно, проведя сопоставление какого-то суждения с фактами, явлениями реальной действительности, сославшись на непререкаемый авторитет и т. п. Но нельзя не признать, что соответствующий полемический прием помогает одержать победу быструю и полную. Важно также понимать, видеть прием, используемый противником. Если бы Пигасов был более искушен в полемике (до Рудина он не встречал достойных противников), он не попался бы так легко в ловушку. Полемическое искусство Рудина показано автором широко и многообразно. Вот еще два примера. Рудин продолжал:

«—...Вы не верите в пользу общих рассуждений, вы не верите в убеждения... Вы ни во что не верите... Почему же верите в факты?

— Как почему? вот прекрасно! Факты дело известное, всякий знает, что такое факты... Я сужу о них по опыту, по собственному чувству.

— Да разве чувство не может обмануть вас! Чувство вам говорит, что солнце вокруг земли ходит... или, может быть, вы не согласны с Коперником?..».

И снова мы видим здесь удачный тактический ход опытного полемиста: общее положение о роли чувства, выдвинутое Пигасовым, разрушается при столкновении с конкретным примером («солнце вокруг земли ходит»). Пигасов нападает на «системы». Рудин возражает:

«—... Что вас пугает так это слово? Всякая система основана на знании основных законов, начал жизни...

— Да их узнать, открыть их нельзя... помилуйте!

— Позвольте. Конечно, не всякому они доступны, и человеку свойственно ошибаться... Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума, и вся наша образованность...

— Вот вы куда-с! — перебил растянутым голосом Пигасов. — Я практический человек и во все эти метафизические тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться.

— Прекрасно! Это в вашей воле. Но заметьте, что самое ваше желание быть исключительно практическим человеком есть уже своего рода система, теория...».

Рудин ловит оппонента на противоречии: то, что кажется Пигасову различным, даже противоположным, вдруг — как показывает Рудин — является однотипным, тем же самым в сущности. Неожиданно поймать противника на противоречии, подчеркнуть близость тех понятий, которые противник считает далекими, — эффектный полемический прием.

Каждый, конечно, понимает, как важно хорошо владеть оружием, с которым идешь в бой, как важно иметь на вооружении самое совершенное оружие. А для того чтобы верно оценить пригодность того или иного вида, необходимо знать, какие виды существуют.

К какой же области знания следует обратиться, чтобы постигнуть искусство полемики? Ответ как будто очевиден — к логике. Действительно, доказательство и опровержение изучаются в формальной логике. Доказательство определяется как логическое действие, такое логическое действие, в процессе которого истинность какой-либо мысли обосновывается с помощью других мыслей, истинность которых доказана практикой. Это бесспорно. Однако заметим, что если бы это целиком относилось к полемике, то в споре всегда побеждал бы тот, на чьей стороне истина. Увы, так бывает далеко не всегда.

Формальная логика не дает, не описывает те полемические приемы, те тактические ходы, о которых мы говорим. Это просто не ее задача. Логика дает лишь общие правила мышления, общие правила рассуждения и доказательства. Доказательство и опровержение не только логические, но и речевые действия. Вот почему логические правила носят слишком общий характер и мало касаются собственно искусства полемики. Полемика — сфера столько же логическая, сколько и лингвистическая. Но в лингвистических трудах, пособиях о полемике найдешь еще меньше, чем в логике. Находящаяся на стыке разных наук, эта область ока-

залась ничейной. Философия XX века утверждает, что изучение именно промежуточных, находящихся «на стыке» областей, дает чрезвычайно ценные в практическом и теоретическом отношении результаты.

Языковые формы действительно активно участвуют в конструировании полемических приемов. И хотя мы специально привели в качестве примера такие приемы, которые построены на логических отношениях элементов и могут быть представлены как логические схемы, в них нельзя не видеть большого значения языковых элементов. Например, логика не требует многократного повторения и варьирования слов; с логической точки зрения, достаточно спросить: если вы ни во что не верите, то почему вы верите в факты? Но повтор, нагнетание однородных единиц эффектно выделяют противоречие. Форма риторического вопроса: «Да разве чувство не может обмануть вас!» — сильнее, чем простое утверждение: «чувство может обмануть». Точно так же абстрактные формы научной речи в последнем примере удачно гармонируют с содержанием, существом спорного вопроса. Конечно, важны в этом случае уже не столько языковые элементы сами по себе, сколько их организация, их взаимодействие. Организация языковых средств определяет и характер освещения фактов, и степень воздействия на слушателя или читателя.

Фигура — это и есть своеобразное речевое построение, средство выразительности. Когда-то учение о фигурах было составной частью риторики, сейчас фигуры начинают привлекать внимание лингвистов. Долгое время лингвистика в качестве объекта своего изучения выделяла две единицы — слово и предложение. Только сейчас наметилась тенденция изучать структуры «больше предложения», сверхфразовые единства, текст. Одной из главных задач современной лингвистики текста является выделение и структурный анализ типов речи. Среди функционально-смысловых типов речи обычно выделяют: описание, повествование, рассуждение. Это монологические типы. Представляется целесообразным включить сюда и диалогические типы: вопросно-ответный диалог, повествовательный диалог и диалог полемического типа (диалог-спор). Не следует эти типы непременно связывать с диалогом. Диалогические типы могут включаться в монолог (полемическое построение, диалогизация публицистической статьи, ораторская речь), так же как и монологические типы (описание, рассуждение) могут быть в диалоге.

Различия этих типов весьма значительны, и соответственно, различна степень владения нами каждым из этих типов. Если вернуться к образу Рудина, то можно отметить, что, прекрасн

развертывая рассуждение, он слабо владел описанием. Показательно, что и как говорит об этом Тургенев:

«Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его недоставало красок. Он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов... скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно...».

Можно было бы думать, что описание и повествование требуют красок, а рассуждения, полемика основываются на формах «сухих», научно-логических. Верное для многих случаев, это положение не универсально. Тургенев не один раз говорит об образности полемических рассуждений своего героя:

«Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями».

И тут же отбрасывается возможное предположение об искусственности, напыщенности речи:

«Не самодовольной изысканностью опытного говоруна — вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия».

Тургенев не только говорит о красноречии Рудина, но и показывает, в чем оно заключалось. Приведем два примера, хорошо иллюстрирующих как логическую сторону, так и образность полемических, убеждающих речей Рудина. Вот Пигасов в «дурной» своей манере восклицает:

«— Образованность! говорите вы, — подхватил Пигасов, — вот еще чем удивить вздумали! Очень нужна она, эта хваленая образованность! Гроша медного не дам я за вашу образованность!».

Поток бранных слов, обилие эмоций и никакой аргументации. И вот реакция Рудина:

«— Образованность я защищать не стану... она не нуждается в моей защите. Вы ее не любите... у всякого свой вкус. Притом это завело бы нас слишком далеко. Позвольте вам только напомнить старинную поговорку: «Юпитер, ты сердисься: стало быть, ты виноват». Я хотел сказать, что все эти нападения на системы, на общие рассуждения и так далее потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знание, науку и веру в нее, стало быть, и веру в самих себя, в свои силы. А людям нужна эта вера, им нельзя жить одними

впечатлениями; им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием...».

Рудин легко отбил нападки на образованность и решительно осудил защиту невежества со стороны своего оппонента. И вместе с тем он отказался защищать образованность и нигде — ни здесь, ни в других частях романа — мы не найдем прямого осуждения; он не назвал оппонента невеждой, реакционером, мракобесом и т. п. В этом и проявляется его «изящная учтивость».

Рудин начинает с того, что отказывается защищать образованность. В действительности он ее защищает, защищает знание, науку. Причем формальный отказ — эффектный полемический прием — и только. Оратор может сказать: не стану останавливаться на таком-то факте, — но тем самым факт уже отмечен, выделен, на него обращено внимание. И дальше сила и убедительность речи во многом объясняются использованием особых, объективирующих форм речи. «У всякого свой вкус». Конечно, это объективная констатация явления, но в этом и осуждение противника: слушатели прекрасно понимают смысл этого оборота вежливости. Та же объективация (а вместе с тем и осуждение) в использовании поговорки (поговорка по своей сути — объективированное обобщение). Тот же самый принцип в подчеркивании логической взаимосвязи, соотнесенности отдельных понятий: система — знания, наука — вера в себя — невозможность жить без этого.

Эта логическая взаимосвязь достигнута различными языковыми средствами (семантически, синтаксически). При этом используются не только формы логического подчеркивания, но и эмоционального усиления. Здесь нет экспрессивной лексики (слова *система, знания, отрицать, вера, впечатление, мысль* вполне нейтральны, обычны), но чрезвычайно выразителен синтаксис: повторы («веру в нее... веру в самих себя, в свои силы»), ряды однородных членов («нападения на системы, на общие рассуждения», «бесплодностью и бессилием»), категорично звучащие безличные предложения с инфинитивом («нельзя жить...», «грешно бояться... и не доверять...»), экспрессивное присоединение («А людям нужна эта вера...») и другие. Выразительны также своеобразные олицетворения абстрактных понятий, характерные для афористической речи: «грешно бояться мысли», «скептицизм всегда отличался... бессилием». Такую речь с полным правом можно назвать образной, хотя в ней как будто нет специальных изобразительных средств. Но опытный полемист их не чуждается.

Начав с рассказа о жизни за границей, Рудин заговорил «о значении просвещения и науки», о роли университетов, стреми-

тельно набросал картину будущего и подвел, наконец, слушателей к тому, «что придает вечное значение временной жизни человека», к вопросу о смысле жизни. И вот заключительный аккорд, конец речи:

«Помню я одну скандинавскую легенду,— так кончил он,— царь сидит с своими воинами в темном и длинном сарае, вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела в темноту, и недолго побыла в тепле и свете... «Царь,— возражает самый старый из воинов,— птичка и во тьме не пропадет и гнездо свое сыщет...». Точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо...».

Речь венчается яркой аллегорией, использованием художественных, фольклорных образов. Неожиданный переход от общих рассуждений к конкретному примеру, к образной аналогии, символу значительно увеличивает эмоциональное воздействие речи на слушателей. Изучение полемических приемов, общих особенностей полемической речи, ее структуры — актуальная задача современной стилистики текста. Только в этом случае проблемы «искусства полемики» из области логико-психологической удастся вернуть в область лингвистики.

В. В. ОДИНЦОВ

ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ТЕКСТ

Внимательно прочитайте предложенный отрывок. Ответьте на вопросы: где ошибка, как следовало сказать или написать?

I. «Выполненное обещание. Габровец заболел. Собрав последние силы, он встал с кровати, опустился на колени перед иконостасом и взмолился...» («Габровские шутки», Гослитиздат. М., 1969, с. 33).

II. «О габровцах рассказывают, что... ночью они зажигают в курятнике лампы, чтобы курицы думали, что рассвело, и неслись лишний раз» (там же, с. 48).

Ответ см. на с. 89

Практикум по стилистике подготовила Л. И. Еремина

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ

(мучит — мучает)

Нередко спрашивают, как правильно: он *мучит* (или *мучает*) кошку; *мучится* (или *мучается*) сомнениями?

Прежде на этот вопрос был готов быстрый и четкий ответ: глагол *мучить* (ся) относится к глаголам, оканчивающимся в неопределенной форме на *-ить* (IV продуктивного класса), и образует формы настоящего времени по II спряжению: *я мучу* (сь), *ты мучишь* (ся), *он мучит* (ся) и т. д. Что касается параллельных образований: *я мучаю* (сь), *ты мучаешь* (ся), *он мучает* (ся) и т. д., то они, как свидетельствует «Грамматика русского языка» (т. I. М., 1953, с. 548), относятся к просторечию и, следовательно, не обладают правами литературной нормы.

Но время идет вперед, и речевая практика наших дней (в том числе и словоупотребление авторитетных писателей) заставляет усомниться в правильности такого однозначного решения.

Отмечая вариантность форм у глагола *мучить*, возникшую вследствие взаимодействия и смещения парадигм (системы форм) глаголов IV класса и I класса, С. П. Обнорский в книге «Очерки по морфологии русского глагола» (М., 1953, с. 14) рассматривал это явление как новообразование русского литературного языка, поддержанное влиянием южновеликорусских говоров.

Действительно, в художественной литературе первой половины XIX века формы *мучаю*, *мучаешь* не зарегистрированы. В «Словаре Академии Российской» (1789—1794) и в «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847) приведены только: *мучу*, *мучишь*. В 1858 году журнал «Москвитянин» строго осуждал форму *мучаешь*, встретившуюся в журнале «Библиотека для чтения». Рецензент «Москвитянина» замечал: «На языке грамматики: ты мучишь».

Однако начиная с середины XIX века «неправильные» с точки зрения грамматики и словарей формы начинают проникать в художественную литературу. Они зафиксированы у А. Кольцова, А. Островского, Писемского, Достоевского, Чернышевского, Л. Толстого, Гаршина, Чехова: «Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь» (Л. Толстой. Война и мир); «За что вы меня так мучаете?» (Достоевский. Бесы); «Его мучают угрызения совести» (Чехов. Палата № 6). Важно при этом отметить, что наиболее восприимчивыми к аналогическому воздействию глаголов I продуктивного класса, типа *играю, играешь* и т. п., оказались формы настоящего времени — *мучаю, мучаешь, мучает*, а также неличные формы: повелительное наклонение *мучай(те)*, деепричастие *мучая*. Формы же прошедшего времени *мучал, -ла, -ло* и неопределенной формы *мучать* встречались тогда еще весьма редко. Например, у Л. Толстого: «Бесконечные сомненья... всегда мучали меня» (Письма, 4 февраля 1885).

Ориентируясь на языковой материал XIX века и отмечая распространенность форм на *-аю, -аешь, -ает*, В. И. Чернышев считал все же правильными только варианты *мучу, мучишь, мучит*, которые, как он замечал, предпочитались авторами того периода (Правильность и чистота русской речи. СПб., 1915, с. 292).

В последние десятилетия картина соотношения вариантов существенно изменилась. Формы настоящего времени *мучаю, мучаешь, мучает*, повелительного наклонения *мучай-те* и деепричастия *мучая* постепенно становятся серьезными конкурентами первоначальных: *мучу, мучишь, мучь-те, муча*. Новые варианты зафиксированы у многих писателей и поэтов нашего времени (М. Горького, А. Толстого, Катаева, Саянова, Сельвинского, Симонина, Германа, Кассиль, Гранина, Солоухина, Дудина, Березко, Нилина, Бондарева, Яшина и многих других) и не ограничены жанром произведения и кругом сочетаний: «Старик-муж ревнует и мучает Машу» (М. Горький. Трое); «Человек устал, а они его мучают» (Кассиль. Вратарь республики); «Мучаясь головной болью...» (Ю. Герман. Я отвечаю за все). Причем новые формы стали употребляться не только при обозначении физических страданий, но и душевных, нравственных: «Мучаясь любопытством...» (Бондарев. Горячий снег); «Мучает совесть...» (Барто. Найти человека); «Мучается желанием написать сыну убитого...» (Трифонов. Нетерпение); «Мучается сомнениями...» («Комсомольская правда», 28 июня 1973); «Жестоко мучающегося от своего бессилия...» («Литературная газета», 28 ноября 1973).

Следует при этом отметить, что тенденция к переходу в парадигму глаголов I класса наиболее явно обнаруживается у форм настоящего времени. В прошедшем времени и в неопределенной

форме дольше сохраняются традиционные формы: «Ее *мучает* мысль, действительно ли все было так, как сказал ей Серпилин. Эта мысль *мучила* ее» (Симонов. Последнее лето). Постепенно, однако, варьирование распространяется на прошедшее время и на неопределенную форму. У современных авторов (часто уже без намеренной стилизации) встречаются формы *мучал*, *-ла*, *-ло* и *мучать*: «Его мучало сознание своей ненужности» (Чаковский. Блокада); «Он вечно мучался глазами» (Паустовский. Время больших ожиданий); «Терзало и мучало его то, что произошло в районе» (Мальцев. Войди в каждый дом); «Когда над первой строкой Я мучался...» (Долматовский. Ко мне явилась рифма...); «В искусстве всегда будет мучать один вопрос — что есть истина?» (Тендряков. Свидание с Нефертити).

Резкий количественный скачок в употреблении форм *мучаю*, *мучаешь* и применение их авторитетными современными писателями заставляют пересмотреть нормативные оценки новых морфологических вариантов. Видимо, запрещение их лишено сейчас оснований и перспективы. Поэтому новейшие нормативные пособия допускают формы *мучаю(сь)*, *мучаешь(ся)*, *мучает(ся)* или на правах стилистически сниженных вариантов нормы (Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка». Л., 1973), или даже как орфографически равноправные (Орфографический словарь русского языка. М., 1974).

Этот частный случай конкуренции морфологических вариантов интересен и поучителен не только с точки зрения становления новой нормы в употреблении отдельного слова. У «изобилующих» глаголов, для которых возможны две формы, например: *каплет* — *капает*, *брызжет* — *брызгает*, *движет* — *двигает* и т. п., традиционная форма стойко сохраняется при наличии, казалось бы, весомых причин для аналогического выравнивания (ср. в прошлом: старая форма *гложу* и новая *гложаю*, *ичу* и *икаю*, *храмлю* и *храмю* и т. п.). Этот очевидный факт стал использоваться в качестве основания для общего и, на мой взгляд, несколько рискованного вывода об ослаблении творческой силы грамматической аналогии в XX веке (см.: «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка». М., 1968, с. 135—136).

Рассмотрение значительного и разнохарактерного материала свидетельствует не об ослаблении творческой силы грамматической аналогии вообще, а лишь о неравномерности ее воздействия. При наличии морфонологических чередований (*зг/ж'*: *брызгает* — *брызжет*; *д/ж*: *глодает* — *гложет* и т. п.), а также смыслового или сочетаемостного различия вариантов (ср. *он двигает шкаф*, но *им*

движет самолюбие) сила аналогического воздействия со стороны глаголов продуктивных классов действительно ослаблена. Выбор непродуктивного варианта (*брызжет, машет, полощет* и т. п.) часто находится в прямой зависимости от общего уровня образования, степени интеллигентности носителя языка. Пользование старой формой служит как бы своеобразным паспортом грамотности, признаком владения техникой литературной речи. Однако даже в этом случае сила формальной аналогии иногда пробивает заслон письменной традиции. Ср. употребление варианта *двигает* при отвлеченном значении глагола, то есть там, где традиционная норма требует формы *движет*: «Любопытство — древняя учеба — Все науки двигает вперед» (Сельвинский. Труд); «Кем был. Что значу. И что стою... Что руку двигает мою?» (Винокуров. Автобиография); «Им двигает чудовищное честолюбие» («Литературная газета», 11 ноября 1957).

В тех же случаях, где конкурирующие варианты не имеют выраженной смысловой, сочетаемостной или иной полезной нагрузки (как в примере *мучит — мучает*), сила формальной аналогии оказывается достаточно действенной. Это и приводит к постепенному признанию грамматически продуктивного варианта нормой современного литературного языка.

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

Ленинград

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ В РЕЧИ

В статье «О синтаксисе прозы Бунина» («Русская речь», 1970, № 5) обрисована выразительная синтаксическая доминанта однородности. Еще выразительнее доминанта экспрессивных добавлений.

Использование экспрессивных добавлений тесно связано с особой выразительностью художественного произведения, в котором внимание автора направлено на проникновенное выражение напряженных переживаний рассказчика или персонажа. Сложность душевного мира и отражается в выразительных добавлениях к сказанному ранее.

С точки зрения синтаксиса это именно добавления. Разумеется, добавления не могут быть произвольными. Они подчиняются грамматическим законам. Добавляются обычно такие слова, которые могли бы входить в состав данного предложения. При этом возможны различные пропуски легко подразумеваемых промежуточных слов. При значительных пропусках добавляемые части текста могут не допускать объединения в одно целое с предшествующим предложением (иногда этому мешают вставки или перестановки слов).

В качестве иллюстративного материала возьмем, например, роман Н. Амосова «Мысли и сердце». Наличие множества добавлений в этом романе обусловлено художественно-эстетической установкой автора.

Синтаксическая доминанта экспрессивных добавлений особенно отчетливо выражена в середине глав, что составляет заметную структурную особенность романа. Могут добавляться как однородные, так и неоднородные синтаксические элементы.

Вот примеры добавления синтаксических единиц с соединительной связью: «Люди за теми окнами страдают. Они мучаются болезнями. Или ненавидят. Или тоскуют»; «Выделить аорту выше и ниже аневризмы, как можно ближе. И легочную артерию. И долю легкого».

Добавления однородных синтаксических элементов очень заметны. Еще чаще встречаются добавления неоднородных элементов, как отдельных слов, так и словосочетаний и предложений, которые в иных условиях могли бы войти в состав предложения как распространители или стать придаточной частью предложения, например: «Комната такая, как во всех моргах. *Какая-то серая*»; «Тетя Феня принесла чай. *Два стакана, несколько кусочков белого хлеба*»; «Выяснил бы, как регулируется кровяное давление. *Как действует на ткани недостаток кислорода. Почему развивается шок*»; «Так писали в старых романах. *Которых*, откровенно говоря, я уже не могу читать»; «До чего приятно, когда работа сделана, когда все хорошо. *Когда* Саша там лежит живой. *С новым клапаном. Когда* при нем его жизнь и письмо, которое я теперь могу не читать».

Разнообразно выражение смысловых отношений между основным текстом и экспрессивными добавлениями к нему, например, присоединения, обоснования и причины, следствия и уступки, цели и сопоставления: «Лене это сделали наверное девушки из лаборатории. У нас есть молодые лаборантки, и они приходят иногда ухаживать за своими любимцами. *Потому что* папа едва ли смог бы заплести так хорошо»; «Окна вроде большие, а света не пропускают. *И не потому что* стекла до половины замазаны жидень-

кой белой краской»; «Нужно беречь нервы для будущего. Хотя есть поводы для ворчания»; «Но в куклы играть была большая мастерица. Фантазерка. Так что из нее могла бы выйти поэтесса... Или художница...»; «Я набираю воздух в легкие, как будто перед прыжком в воду. Как будто вдыхаю в последний раз» и т. п.

Важно отметить не только наличие разнообразных экспрессивных добавлений, но и чрезвычайную насыщенность ими текста романа «Мысли и сердце».

Встречаются *складни* (соединение законченных предложений) — укрупненные синтаксические единицы, состоящие из нескольких предложений, которые объединяются единством содержания, замкнутостью содержания и общим грамматическим отношением к соседнему предложению, причем грамматическое значение выражается тем или иным постоянным грамматическим средством, например, соединительные и противительные отношения выражаются при помощи союзов *и, но*.

Особенностью *складней* в романе является то, что они состоят из коротких, часто неполных предложений и избылуют добавлениями.

В ряде случаев заметно, что и целые *складни* добавляются к предшествующим *складням*. Например:

«У меня нет выбора. Все знаю, все читал. И потом — надоело. Большую работу уже начинать нельзя — все равно не успеть. Живу как на аэродроме — вылет откладывается, но будет непременно. Конечно, я продолжаю думать, но это уже больше по инерции, для себя. Кроме того, я закончил один этап. Понял общие принципы построения программы деятельности клетки, человека, общества. Я додумал их в самое последнее время, уже здесь. Теперь нужно доказывать, бороться. Очень много работы для целого коллектива. Если переживу операцию — значит начнем».

В приведенном примере складень совпал с абзацем. Так бывает далеко не всегда. К сожалению, некоторые языковеды для обозначения укрупненных синтаксических единиц пользуются именно термином «абзац». Термин «абзац», который вначале был только типографским термином и обозначал «отступ вправо в начальной строке» текста, а затем стал обозначать «часть текста между двумя такими отступами», теперь употребляется в нескольких значениях, в том числе (некоторыми языковедами) и для обозначения крупного синтаксического целого. На существенное отличие абзаца от укрупненной синтаксической единицы указывалось нами в книге «Синтаксис целого текста и ученические письменные работы» (М., 1961).

Необходимость экспрессивных добавлений усиливается еще и тем, что основное предложение само по себе недостаточно для

понимания авторской оценки, отношения к его содержанию, требует какого-то предшествующего предложения или последующего разъяснения.

Глава «Второй день» начинается небольшим складнем: «Дорога ведет в гору. Я иду на работу. Почти каждое утро я карабкаюсь в гору. Не только ногами. В мыслях».

Здесь, кроме краткости предложений, необходимо было пояснить и эмоционально обосновать градацию: *Я иду /.../ я карабкаюсь...* Экспрессивные добавления и вносят эти необходимые коррективы: «Почти каждое утро я карабкаюсь в гору. *Не только ногами. В мыслях*». Именно поэтому не только с стилистической, но и с синтаксической точки зрения нежелательно объединение их с предшествующим предложением.

Такой же характер носят все остальные складни, начинающие главы или их отрезки.

Специфический характер имеют и концовки глав в романе. Иногда это — складни из неразвернутых предложений, иногда — складни из восклицательных и вопросительных предложений, с повторами и уточнениями.

Весь роман завершается небольшим складнем, в котором находим добавления, экспрессивное использование союза *и*, синонимические повторы, вопросительные предложения: «А уже были: девочки с бантами, Шура, Сима... И эти двое: Алеша и Надя. Потом Саша... И еще много других... Они все здесь умирали, в этих палатах.

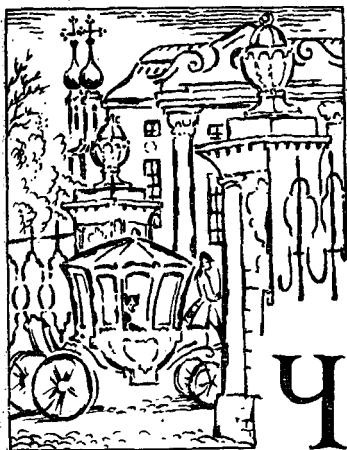
И сейчас присутствуют. Напоминают.

Не дают забыть о главном... А что главное? Может быть, совесть?».

И. А. ФИГУРОВСКИЙ

Как часто при чтении произведений молодых авторов читатель жалуется на скудный, порою просто убогий язык! А ведь язык — это каким количеством пальцев ощупать вещь, характер, событие. Язык — это дополнительные ступени вовнутрь страницы, по которым можно сойти и осмотреть изнутри описанное явление. Языком для меня мерится грузоподъемность строки. Он для меня как станок, производящий множество одновременных операций.

Л. Леонов. Талант и труд. 1956



ЧУЖЕВЛАСТЬЕ В «ГОРЕ ОТ УМА» ГРИБОЕДОВА

Ч ацкий в знаменитом монологе
III акта бессмертной комедии
воскликает:

Воскреснем ли когда от чужевластья
мод.

Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за
немцев!

Обращает на себя внимание своей необычностью и содержательной силой слово *чужевластье*. И не удивительно: до Грибоедова слова этого, по всей вероятности, не существовало. Обратившись к источникам наших сведений о словарном составе русского языка прошедших эпох — к старым русским словарям, к существующим историческим картотекам, собранным лингвистами-словарниками, мы не найдем ни одного примера более раннего употребления этого слова. Можно достаточно смело утверждать, что создатель его — сам Грибоедов. Из уст героя комедии как бы вырывается выразительное, емкое слово в самом потоке его страстной речи против иностранного засилья в русском быту и языке того времени. Одним этим словом выражена сама суть обличаемого общественного явления.

Такие слова, которые образуются специально для нужд определенного контекста, называются *окказиональными*. Созданные «по случаю» (отсюда и сам термин, образованный от латинского *occasio* 'случай'), они не претендуют на то, чтобы употребляться в разных контекстах, в разных речевых ситуациях. Зато в своем контексте такие слова нередко оказываются наиболее выразительными, наиболее нужными.

Слово *чужевластье*, созданное в тексте грибоедовской комедии, так и осталось прикрепленным к этому тексту. Оно продолжает жить в составе крылатого выражения из монолога Чацкого, как и многие другие стихотворные строки комедии, по сбывшемуся предсказанию Пушкина, «вошло в пословицу»... Но вне грибоедовского контекста оно не употребляется.

В Большой ленинградской словарной картотеке есть, правда, один-единственный пример употребления этого слова (кроме грибоедовского), но и он явно навеян грибоедовским контекстом. «Наша едва открытая сцена должна была пожертвовать Парижской, до медленного освобождения от сего чужевластия», — писал в своем «Обзоре русской драматической словесности», опубликованном в 1842 году в журнале «Репертуар и Пантеон», известный поэт, драматург и театральный деятель, современник Грибоедова и его соавтор по комедии «Своя семья, или Замужняя невеста» А. А. Шаховской.

Обычно окказионализмы в толковых словарях языка не приводятся. Известны, правда, случаи ошибочного включения их в толковые словари (один из них указан М. А. Бакиной: см. статью о слове *оплечь* в поэме Блока «Двенадцать». — «Русская речь», 1969, № 4). Нечто подобное произошло и со словом *чужевластье*. Оно приведено в двух толковых словарях: сначала в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (т. IV, 1940), а вслед за ним — и в самом большом, семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» (т. XVII). В обоих словарях единственный пример на употребление этого слова, естественно, цитата из комедии Грибоедова.

Если принять во внимание широкую известность, популярность выражения, в составе которого употреблено данное слово, то включение его в словари русского литературного языка можно считать в какой-то степени оправданным (оба словаря толкуют его как слово свободного общеязыкового употребления). Но никак нельзя согласиться с другим — с пометой «устарелое» — в обоих словарях. Ведь такой пометой сопровождаются слова, в прошлом бывшие широко употребительными, но впоследствии утратившие эту употребительность. Ничего подобного со словом *чужевластье*, как мы видели, не было.

Как же образовано слово *чужевластье*, по какой словообразовательной модели, по какому образцу?

Специалисты отмечают, что нередко образцом для создания нового окказионального слова служит какое-нибудь конкретное слово, уже существующее в языке. Создатель нового слова как бы отталкивается от старого, а самим строением такое новое слово напоминает свой образец. Живая переключка со старым словом такой же словообразовательной структуры создает тот эффект новизны, который и преследуется автором нового слова.

Образцом для Грибоедова при создании слова *чужевластье* было скорее всего сложное слово *самовластье*, а возможно, и *своевластье*. Оба эти слова, близкие по значению, употреблялись в литературном языке того времени, но более употребительным было, по-видимому, слово *самовластье* (хотя слово *своевластье* впервые отмечено лишь в словаре Даля, тем не менее есть все основания утверждать, что оно существовало и раньше, как и прилагательное *своевластный*).

Одним из значений слова *самовластье* (наряду со значением 'единоличная неограниченная власть, самодержавие') было 'неодолимая власть, влияние чего-либо'. В этом смысле его использовал, например, П. А. Вяземский в статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова»: «Четвертый акт есть дань вынужденная самовластию обычая, определившего трагедии пять действий» (речь идет о трагедии Озерова «Поликсена»). Слово *самовластье* в этом значении вполне могло бы быть употреблено и Грибоедовым в интересующем нас месте комедии. Однако он употребил другое, созданное по образцу этого слова, но существенно уточняющее его смысл, а если исходить из буквального содержания слов *самовластье* и *своевластье*, то и противоположное им по смыслу.

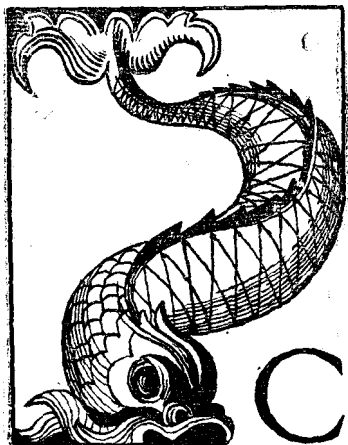
Действительно, *самовластье*, как и *своевластье*, — это буквально 'своя власть, власть чего-либо своего, собственного'. Заметим, что первый компонент сложных слов *само-* синонимичен компоненту *свое-*. (Ср., например, *своевольный* и *самовольный*: оба слова означают 'действующий или совершающийся по своей воле, по своему желанию'.) А у Чацкого — Грибоедова речь идет как раз о противоположном — о власти чужой, иноземной моды. *Свой* и *чужой* — антонимы. Вот откуда новообразование *чужевластье*! Разумеется, оно опиралось и на сложные слова с первым компонентом *чуже-*, давно уже известные русскому языку (прежде всего это имена прилагательные: *чужеземный*, *чужестранный*, *чужеродный* и т. п.).

Думается, что внутренняя переключка нового слова *чужевластье* со старыми и общеупотребительными *самовластье* и *своевластье*, их своеобразное противопоставление были в первое время после создания комедии более ощутимыми, а впоследствии несколько стерлись.

Сделанное наблюдение над одним только словом в комедии «Горе от ума» вносит еще одну черточку в наши представления о языковом мастерстве ее автора.

В. В. ЛОПАТИН

От редакции: О словах-сказизманизмах, об их отличии от общеупотребительных слов, вошедших в язык, подробно рассказано в книге В. В. Лопатина «Рождение слова» (М., изд-во «Наука», 1973).



ИНДИВИДУУМ — ОСОБЬ

Слово *особь* употребляется в значении «самостоятельно существующий организм» («Словарь русского языка» С. И. Ожегова). Оно впервые встречается в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля: «**Особь**, ж. неделимое, индивид; всякое отдельное существо или растение». Ученых уже давно заинтересовало происхождение этого слова. В частности, А. И. Соболевский связывал его со старославянским *собь* (А. И. Соболевский. Падежная форма *собь*. — РФВ, 1914, № 2). Иного мнения придерживался академик В. В. Виноградов. В статье «Семнадцатитомный академический словарь современного русского литера-

турного языка и его значение для советского языкознания» он писал: «По своему строю это слово относится к морфологическому типу отвлеченных образований от основы имени прилагательного: *особый* — *особь*; сравните *дикий* — *дичь*; *нечистый* — *нечисть*; *поганый* — *погань*; *рваный* — *рвань* и т. п. Таким образом, прямой связи у слова *особь* со словом *собь* или церковнославянским наречием *осбѣ* „один отдельно от другого“ нет» («Вопросы языкознания», 1966, № 6).

Возникновение слова *особь* В. В. Виноградов относит только к середине XIX века. В действительности оно появилось в самом начале 30-х годов прошлого столетия. Его создателем является Михаил Александрович Максимович (1804—1873), тогдашний адъюнкт кафедры ботаники в Московском университете и будущий профессор русской словесности Университета св. Владимира.

М. А. Максимович сыграл большую роль в создании русского ботанического языка. Особенно важное значение в этом отношении имели его книги «Основания ботаники» (М., 1828) и «Систематика растений» (М., 1831). Признавая огромную важность языка науки, он писал: «Словесность для науки то же, что образованность для учености; и для успешнейшего распространения ботаники в России (кроме тех условий, от коих наиболее сие зависит), необходимо еще *сроднить науку с языком нашим*» (М. Максимович. Систематика растений. М., 1831).

Слово *особь* М. А. Максимович впервые употребляет в «Систематике растений». Вот что пишет об этом сам автор:

«Individuum.— В русском языке нет еще слова, которое удобно заменяло бы сей термин, во всех его значениях. Обыкновенно переводят его прилагательным именем *неделимое*; другие пишут просто *индивидуум*, *индивидуй*; иные называют его *единицей*; потом стали употреблять ближе к предмету слова: *особое*, *особность*, *особа*. Последнее слово могло бы совершенно заменить *individuum*, но *usus tyrannus* так усвоил его одним людям, притом знатым и важным, что лошадь, дерево, камень — невозможно назвать *особами*. Однако ж корень сего слова именно тот, от коего должно производить русское существительное имя для выражения *individuum*, и от коего есть очень выразительные русские слова, например, *особняк*, *особиться*.— Мне кажется, что для сего можно употребить слово *особа* усеченно — *особь*, как в народном русском языке слово *молва* сокращается в *мolvь*, употребленное Пушкиным. С таким двояким окончанием употребляются и другие славянские имена, без перемены и с переменою их значения: *постель* и *постеля*, *сушь* и *суша*, *гречь* и *греча*, *сечь* и *сеча*, *вонь* и *воня*, *корь* и *коря*, *злоба* и *зlobь*. Таким же образом и в глаголах окончания *сти*, *ся* сокращаются в *сть*, *сь*; равно сокращаются некоторые сою-

зы и наречия: *или — иль, уже — уж, особо — особь* (в евангелии *особь едины*; и теперь говорится *особь статья*). Посему слово *особь*, уже употребляемое как наречие, будет и существительным именем, так как многие предлоги, наречия суть вместе и имена. Имя *особь* будет согласно с глаголом русским *особиться*, как *дробь* и *знобь* (*засноба*), с глаголами *дробить* и *знобить*.

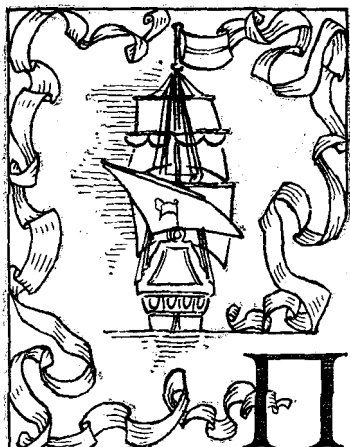
Таким образом, слово сие *правильно* в отношении грамматическом, *согласно* с понятием своим, почему я и называю: *individuum — особь*, *indivialites — особность* (а не *особенность*), *individualis — особый* и *особый* и т. д.».

Очевидно, сначала и самому М. А. Максимовичу новое слово казалось несколько необычным. Поэтому, употребляя его, он неоднократно поясняет его значение старыми терминами. Сравните: «По аналитическому способу высшие степени составляются из низших: начинаем с *особей* (*неделимых*)...»; «Каждое особое растение, в такой определенной форме вырастающее, называется *особью* (*individuum*)».

Современники очень высоко ценили новаторство М. А. Максимовича в создании научной терминологии. Г. Е. Шуровский писал ему в приветственном письме: «Ботаника явилась, благодаря Вам, в первый раз на Руси в своем современном состоянии, со всеми исследованиями тогдашних представителей науки, Декандоля, Линка, Мирбеля и других. В то же время она заговорила изящным русским языком. Вместо прежних насильственно составленных терминов мы услышали тут коренные русские названия, которые до того были удачны, что тотчас же вошли во всеобщее употребление. И можно ли не принять таких названий, как, например: *полог* (*perigonium*), *распуковка*, *стан*, *подвечник*, *завитки* и проч. и проч.? Всех названий, введенных Вами в науку, пересчитать невозможно. Я укажу еще на одно, употребляемое ныне всеми, название *особь* (*individuum*), которым Вы заменили прежние весьма неблагозвучные названия: *неделимое*, *индивидуум*, *индивидуй* и т. п.» (А. Чаев. Михаил Александрович Максимович. — «Русский архив», кн. 2, № 12, 1874).

Научная деятельность М. А. Максимовича в области естествознания продолжалась недолго. В 1834 году он был переведен в Киев на кафедру русской словесности. В связи с этим от естествознания пришлось перейти к историко-филологическим исследованиям. Он опубликовал значительное количество работ по истории русской литературы, русскому языку, древностям, этнографии, истории, педагогике. Но любовь к созданию новых слов у него сохранилась на всю жизнь. В частности, по свидетельству современников, им образованы в этот период такие слова, как *своевременный* и *полногласие*.

С. В. СМЕРНОВ



НАЗВАНИЯ КОРАБЛЕЙ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

Петровская эпоха — одна из ярчайших страниц русской истории, отечественного судостроения и флота, важный этап в истории русского литературного языка.

Истоки отечественного кораблестроения уходят в глубокую древность, но от допетровского периода, когда регулярного русского флота еще не существовало, история сохранила названия только двух кораблей — «Фредерик» («Фридрих») и «Орел». Первый был построен в Нижнем Новгороде для голштинского посольства в конце июля 1636 года и назван по имени голштинского герцога, второй — несколько лет спустя, в 1667 году, в селе Дединове на Оке. Таким образом, изучение названий русских кораблей нужно начинать именно с Петровской эпохи, лозунгом которой было: «Морским судам быть...».

Создание флота требовало огромных усилий, но Петр выступил против массового призыва чужеземных мастеров, необходимых для постройки судов. В этих условиях очень важно было вызвать в народе симпатии к флоту. Именно поэтому на первый план выходит промысел божий и чудесное открытие ботика, прозванного позже «дедушкой русского флота».

Отсюда и названия судов: «Святое пророчество», «Благое начало», «Предестинация», название которого по-русски передавалось как «Божие сему есть Предвидение» («Очерк русской морской истории», ч. I. СПб., 1785), «Отворенные врата» и другие, а также названия по именам святых: «Апостол Павел», «Святой Петр», «Святого духа», «Явление Петра», «Святой Михаил», «Святой Илия», «Архангел Гавриил», «Варахаил», «Селафаил», «Ягудиил» и многие другие.

Названия кораблей Петровской эпохи — система аллегорий, символов, эмблем, что органически входит в «высокий стиль»

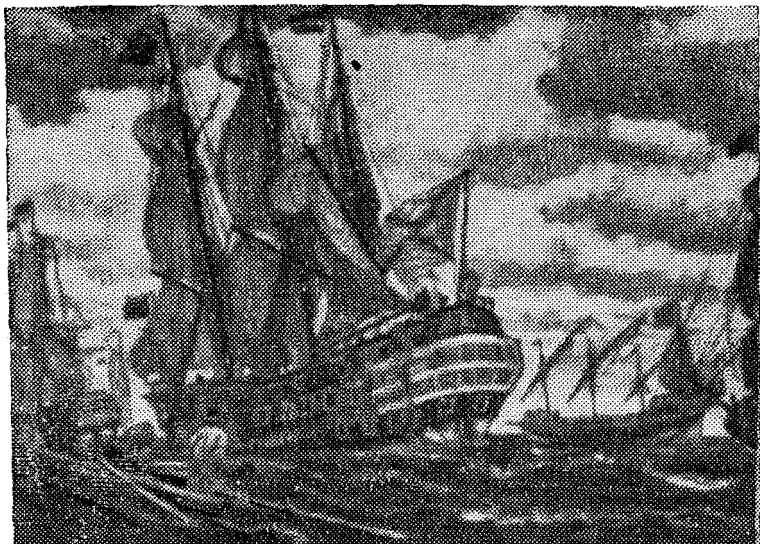
эпохи, а образно-идеологической основой этой системы «служили так называемое священное писание и церковные учителя» (В. В. Виноградов «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.». М., 1938). К приведенным названиям можно добавить еще такие, как «Ноев Ковчег», «Евва», «Флигельфам», или «Де-Фам» («Очерк русской морской истории») — из голл. *de vlichende faam* «летающая слава», *de faam* «слава». Такими же образными являются и чисто русские названия судов типа «Периная тягота», «Заячий бег», «Зеленый дракон» и другие.

По традиции, существовавшей в морском флоте, суда украшались фигурами на носу корабля. В «Письмах и бумагах императора Петра Великого» (т. I, СПб., 1887) содержится «ропись кораблям с объяснением имен и фигур» некоторых русских кораблей этого периода:

<i>Имена и фигуры</i>	<i>Подпись на фигуре</i>
Ветвь виноградная обречанная.	После слезъ происходит плодъ.
Мяч с двумя лапътами.	Коль выше биешь бываю, толь выше поднимаюсь.
Черепаша с выппелемъ.	Терпением увидишь делу окончание.
Ражженное железо.	Надлежитъ делать, пока время есть.

В этом документе речь идет о кораблях, которые в судовых списках значатся под именами «Ветвь виноградная» («Вейншток») — из нем. *Weinstock*; «Мяч» («Баль») — из голл. *bal*; «Черепаша» («Шельпотъ») — из голл. *schildpad*; «Разженное железо» («Гитъ Ейзер») — из голл. *heet* «горячий» и *ijzer* «железо».

Многие названия кораблей Петровской эпохи были именно традиционными аллегориями, отсюда однотипные названия судов в голландском, шведском, немецком, английском, итальянском и т. д. и русском флоте этого периода. Например, названия типа «Слон» («Олифант») из голл. *olifant* (сравните датские, шведские, английские, немецкие корабли с названиями типа «Elefant»), «Саламандра» («Сулемандр»), «Снукъ» — голл. *snoek* «щука», «Фалкъ» — голл. *valk* «сокол» (сравните название паровой яхты королевы Нидерландии «De Valk» — «Морской сборник», № 8, 1875), «Бык» («Oss») — голл. *de os*, «Единорог» («Ейн-Горнъ») — нем. *Einhorn*, голл. *éenhoorn*, «Ватеръ-Фалкъ» — голл. *water* «водяной» и *valk* «сокол», «Дегасъ» («Гасъ») — голл. *de haas* «заяц»; «Еж» («Игель») — нем. *Igel* (названия кораблей взяты из «Журнала, или поденной записки Петра Великого», ч. II, отд. I, СПб., 1772); «Аистъ» («Ойфаръ», «Айфаръ», «Айферъ») — голл. *oievaar* «аист» и другие.



Корабли времен Петра I. Художник Е. Е. Лансере, 1911

Многие суда Петровской эпохи имели два наименования: русское название и его «перевод» на один из западно-европейских языков, чаще всего — голландский. Обилие голландских соответствий не случайно. Голландия в Петровскую эпоху была великой морской державой и страной передового кораблестроения. В силу различных политических и экономических причин она оказалась ближе к России Петра I, чем Англия, Франция и Италия. Много голландских моряков и кораблестроителей было принято на русскую службу, и много русских обучалось в Голландии морскому и судовому делу. Если в морской терминологии Петровской эпохи почти безраздельно господствовали заимствования из голландского и английского языков, то в группе имен собственных (названия кораблей) преобладают соответствия из голландского и немецкого языков: сравните «Колокол» («Клок») — голл. klok «Стрый дуб» («Оуть Екетбомъ») — голл. oud «старый», eikeboom «дуб» (вставка *т* в *Екетбомъ* произошла, по-видимому, на русской почве); «Старый Орел» («Оуть Адлеръ») — голл. oud «старый» и нем. Adler, голл. áadelaar «орел»; «Журавль стерегущий» («Кроанъ опвахтъ») — голл. kraan «журавль» и órwachten «стеречь»; «Шпага» («Дегенъ») — голл. degen, нем. Degen «шпага», «Камень» («Штейнъ») — нем. Stein.

Суда, носившие в документах несколько имен (больше двух), встречаются на Азовском флоте Петровского времени («Список русских военных судов с 1668—1860 гг.», СПб., 1872); «Соединение» — «Уния» — «Энихейт» — голл. *éénheid* «соединение», «единство»; «Крепость» — «Замок» — «Кастель» — «Старгейт» — «Ситадель» — голл. *kastéel* «укрепленный замок, цитадель», *citadel* «цитадель, крепость» (ср. фр. *citadelle* < ум. *citadella*), голл. *sterkte* «сила», *heid* — суффикс отвлеченных существительных, обозначающих качество, состояние; «Благое начало» — «Благословенное начало» — «Благое начинание» — «Гуть анфангенъ» — «Гуть бегинъ» — «Де сегель бегинъ» — голл., нем. *anfangen*, *beginnen* «начинать», голл. *aanvang*, *begin*, нем. *Anfang*, *Beginn* «начало», нем. *gut* «хороший», голл. *goed* «хороший, добрый».

В приведенных вариантах отразились заимствования Петровской эпохи. По выражению академика В. В. Виноградова, западноевропейские слова привлекали как мода, на них лежал особый стилистический отпечаток новшества. Заимствования Петровского времени происходили в условиях, когда в Западной Европе установилась общеевропейская терминология, а широкие западноевропейские связи обусловили то, что эта терминология попадала в русский язык из разных языков. Это отразилось и на названиях судов: «Виктория» — лат. «победа», «Глория» — лат. «слава», «Триумф» — лат. «блестящий успех, победа», «Принципиум» — лат. «первоначало»; «Плезиръ» — фр. *plaisir* «удовольствие», «Монтъ-Везувий» — итал. *monte* «вершина, гора»; «Экс-бой» — англ. *ex* — указание на прежнее звание, *boy* — мор. «юнга»; «Гранатъ-аполь» — голл. *granáatappel* «гранат»; «Винд-Хунд» — голл. *windhond*, нем. *Windhund* «борзая собака» и другие. Возникали варианты в передаче одних и тех же названий. Сравним названия корабля «Черепаша» — «Шельпотъ» — «Шилпстъ» — «Шхельпот» в «Письмах и бумагах Петра Великого» — из голл. *schildpad* «черепаша».

Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе фактического материала, иначе можно допустить ошибку, как это произошло с автором заметки «Корабль мастера Склеява» (журнал «Судостроение», 1971, № 4). Название «Фридемакер» было расшифровано как «позорный мир». Между тем достаточно обратиться к Спискам судов Ф. Веселаго, А. С. Шишкова, С. И. Елагина, «Общему морскому списку» и другим источникам, а также к «Письмам и бумагам Петра Великого», чтобы увидеть, что название этого корабля выступает в двух вариантах — более раннем «Вредемакар» — голл. *vrede* «мир» и *maker* «творец, создатель, автор» (конечное голл. *e* в диграфе *er* на исходе слова произносилось и писалось в русской передаче различно: *e(p)*, *o(p)* и реже *a(p)*) (смотрите С. Я. Розен. Очерки по истории русской корабельной

терминологии Петровской эпохи. Л., 1960), то есть «Вредемакар» должно быть переведено как «Миротворец», что мы и находим в источниках. Вторая форма — «Фридемакер» содержит первую часть, приближенную в русском произношении к нем. Frieden 'мир' и должна быть переведена тоже как «Миротворец» (сравните название корабля «Перемириеносец», 1772).

В названиях кораблей отразилась и любовь к классическим украшениям в виде богов и герсеев античной древности. Образы Фортуны, Венеры, Марса, Аполлона, Вулкана, Минервы, Паллады и др. встречаются в литературе того времени (В. Н. Перетц. Очерки по истории поэтического стиля в России. I—IV. СПб., 1905) и в названиях кораблей: «Фортуна» — корабль, купленный в Англии в 1713 году; «Нептунус» — корабль, построенный в 1715—1718 годах в Санкт-Петербурге; «Вулканус» — брандер 1702 года и т. д.

Любопытно, что суда могли носить и прозвищные имена. На это указывают следующие факты. В «Очерке русской морской истории» говорится: «По воскресеньям царь спускал готовые грузовые суда, буера, называя их шутивными именами: Бирь-Драгарсь (Пивоноситель), Вейн-Драгарс (Виноноситель), Гуть-Драгарс (Добрый вестник), Вельком (Добро пожаловать или Добрый приезд), спущенный на воду в день приезда на верфь Меншикова». Заметим, что название Гуть-Драгарсь следовало перевести как «Доброноситель» (сравните названия: «Соуть-Драгеръ» — голл. zout 'соль', «Люсть-Драгеръ» — голл. lust, нем. lust 'радость', «Ластъ-Драгеръ» — нем., голл. last 'мера корабельного груза в 120 пудов зерна', 'груз'). Вторая часть этих названий *Драгеръ* (ср. приведенное выше *Драгарсь*) — 'носитель' от голл. dragen 'носить'. Если вспомнить, какое живое и непосредственное участие принимал Петр в постройке первых судов, что он под именем корабельного мастера Петра Михайлова был и строителем их, то легко поверить, что он мог сам давать имена своим кораблям. Например, построенную им и Ф. Складовым в 1708 году шняву «Лизетъ» («Лизетка») он назвал кличкой своей любимой собаки («Письма и бумаги Петра Великого», т. VIII).

В «Истории Архангельского порта» С. Огородникова («Морской сборник», № 4, СПб., 1875) приводятся имена кораблей, отличающиеся, как пишет автор, «некоторою оригинальностью»: «Золоченая мельница», «Река Архангельская», «Московская галера», «Серый заяц», «Молодая любовь», «Московский ездок», «Белый теленок» (1706).

Существование у кораблей прозвищных имен подтверждается и более поздними фактами. Например, в приказе № I от 26 марта 1873 года об испытаниях на кронштадтском порте для приема в

казну от заводчика Крейтона трех новых кораблей говорится: «Прежний таранный барказ, сохранив полученное при эскадре прозвище „Жираф“, причислить к пароходу „Владимир“» («Морской сборник», № 4, СПб., 1875). Новые же корабли приписываются «с присвоением им имен».

Названия брандеров и бомбардирских судов связаны с понятиями «огонь», «пламя», «гром» и т. д., что является типичным для всего мирового военного флота этого периода: «Флам» — голл. *vlam*, нем. *Flamme* «пламя»; «Гром» («Дондеръ») — голл. *donder* «гром»; «Молния» («Бликсемъ») — голл. *bliksem* «молния»; «Фуръ» — голл. *vuur* «огонь»; «Громовая стрела» («Дондеръ пейль») — голл. *donder* «гром» и *pijl* «стрела» и другие.

Сравним названия русских бомбардирских судов XIX века: «Этна», «Юпитер», «Гром», «Перун», «Молния», «Везувий», «Громовая стрела», «Бомба» и другие.

Очень интересны в силу своей редкости в русской ономастике названия — глагольные повелительные конструкции типа «*Не тронь меня*» — корабль Балтийского флота, «*Близко не подходи*» — прам, заложенный в 1723 году, Азовский флот (сравните названия других прамов Петровской эпохи: «*Небоязливый*», «*Страшный*», «*Разгневанный*» и т. д.). Глагольные конструкции возможны были и в послепетровскую эпоху: «*Не пощади*», «*Не покинь*» (галеры, 1776), «*Возьми*» (транспорт, 1785), «*Не тронь меня*» (батарея, 1875), но к концу XIX века такие названия исчезают и после 1917 года не встречаются в списках судов.

Не только в Петровскую эпоху, но и позже, в течение всего XVIII века, старые наименования сосуществовали с новыми: сравните название корабля «Сулица» («Ланць») 1709 года — *сулица* — «старинное ручное холодное оружие, род копья или рогатины, также местное копье» (В. И. Даль. «Толковый словарь живого великорусского языка», М., 1956, т. IV); голл. *lans*, нем. *Lanze* «копье, пика»; «Ластка» («Шваль»), 1709 — голл. *Zwaluw*, нем. зоол. *Schwalbe* «ласточка» и другие.

Подлинными историческими памятниками Петровской эпохи являются такие названия кораблей, как «Азов», «Штандарт», «Лесное», «Гангут», «Полтава», «Шлиссельбург», «Петербург», «Нижтадт», «Ингерманланд», «Кроншлот», «Дерпт», «Пернов», «Нарва», «Выборг», «Рига» и т. д. Так, «Штандарт» — символическое имя, указывающее на приобретение нового, Балтийского моря, что нашло отражение и в самом изображении на корабле: теперь двуглавый орел держал в клювах и когтях карты не трех, как раньше, а четырех морей («Журнал Петра Великого»). «Лесное» — 90-пушечный корабль, построенный Петром I и названный в память победы над шведами под деревней Лесное. Это сражение Петр I

назовет позже «матерью Полтавской баталии». «Гангут» — назван в честь первой крупной победы регулярного флота, обеспечившей перенесение боевых действий на территорию самой Швеции; «Полтава» — в честь Полтавской битвы и т. п. Все эти названия — памятники военной славы России.

Традиционными стали названия многих судов Петровской эпохи, заложившей основу именника русских морских судов.

Т. А. ИСАЕВА

Горький



ВЛАХ — ВОЛОХ — ВАЛАХ

дно из стихотворений А. С. Пушкина из цикла «Песни западных славян» называется «Влах в Венеции».

Его главный герой Дмитрий Алексеич жалуется на свою жизнь в итальянском городе, в «этой мраморной лодке»:

Надо мною женщины смеются,
Когда слово я по-нашему молвлю;
Наши здесь язык свой позабыли;
Позабыли и наш родной обычай...

О каком же языке говорит влах Дмитрий Алексеич? Обратимся к родственным славянским языкам и найдем в чешском слово *vlach*, которое означает 'итальянец'. Маловероятно, что в Венеции во времена Пушкина неожиданно позабыли итальянский язык. Следовательно, поэт влахами называет не итальянцев, а какой-то

другой народ. Название цикла пушкинских стихотворений и фамилия героя подсказывают, что ответ нужно искать в славянской среде. Во времена А. С. Пушкина «западными славянами» называли не только чехов, словаков, поляков, но и сербов, хорватов, болгар и другие южнославянские народы.

Какое же значение имеет слово *влах* в славянских языках? Чешским, словацким и южнославянским сочетаниям *-ла-* между согласными соответствуют восточнославянские сочетания *-оло-* и польские, лужицкие и кашубские сочетания *-ло-*. Сравните, например, болгарское слово *влас*, русское *волос* и нижнелужицкое *włos*; чешское слово *hlava*, украинское *голова* и польское *głowa* и т. д.

Как и чешское архаичное слово *vlaš*, значение 'итальянец' имеют словацкий архаизм *vlaš*, польское *włoch*, кашубское *włoch*, нижнелужицкое *włoch* и другие. Со значением 'житель Валахии, румын' выступают русское *волох*, украинские слова *волох*, *волошин*, *волошанин*, белорусское *валох*, болгарское *влах*, сербскохорватское *влах* и другие. Русское *волох* и украинское *волох* имеют также значение 'молдаванин'. В древнечешской литературе употреблялся этноним *vłasi* (множественное число) со значением 'жители Балканского полуострова, говорящие на румынских диалектах; балканские аромумы'. И, наконец, инаковерующие сербы и хорваты (магометане, католики) называли *влахами* православных сербов, а живущие на островах Адриатического моря сербы так именовали сербских крестьян побережья.

Таким образом, влах Дмитрий Алексеич был православным сербом и «слово молвил» по-сербски. А. С. Пушкин позаимствовал слово *влах* и его значение у П. Мериме. «Влах в Венеции», как и десять других стихотворений цикла, является подражанием песням, напечатанным в книге П. Мериме «Гузла, или Сборник илирийских стихотворений, собранный в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцоговине». Но нельзя не учитывать того, что при работе над «Песнями западных славян» поэт пользовался также источниками на сербскохорватском языке (например, сборником сербских песен Вука С. Караджича), где мог встретить слово *влах* со значением 'православный серб' или 'сербский крестьянин побережья'.

Как же получилось, что родственные слова имеют в разных славянских языках столь далекие друг от друга значения?

К списку слов, закономерно образованных от общеславянского *volchъ*, можно добавить ряд этнонимов, содержащих сочетание *-ала-*. Значение 'житель Валахии, румын' имеют: русское слово *валах*, белорусское *валах*, чешское *valach*, словацкое *valach*. Со значением 'представитель моравского племени, житель моравской

Валахии⁷ употребляются: чешское слово *valach*, словацкое *valach*, русское *валах* (часто выступает в форме с уточняющим определением — *моравский валах*).

В. Махек считает, что форма с *-ала-* возникла у венгров из славянского *влах* со вставлением первого *а*, как это наблюдается в случае славянское *крачун* > венгерское *karácsony* 'Рождество'. Вновь образованное слово было заимствовано трансильванскими румынами и затем перешло к славянам. Возможно, придется исключить румынское посредничество, поскольку в самом румынском языке слово *valah* употреблялось редко. В хронике XVII века столбника Константина Контакузино данный этноним встречается в формах: *valahi*, *valași*, *vlahos*, *volahi*, *vlahi*. Подобное многообразие форм свидетельствует о том, что слово не закрепилось в румынском языке, а, следовательно, не могло быть основой для заимствования.

Древнерусское *волох* впервые встречается в «Повести временных лет». В исторической и этнографической литературе имеется несколько гипотез о том, кем были «волохи» Нестора. Д. Иловайский, А. Гильфердинг, В. Ключевский и ряд других авторов видят в них римлян и полагают, что в описании нашествия волохов в «Повести временных лет» отразилось завоевание Дакии Траяном. А. А. Шахматов считает, что под волохами летописец подразумевал франкские войска Карла Великого. С. П. Толстов вслед за П. И. Шафариком и И. Добровским видит в летописном сказании «отголосок народных воспоминаний о вторжении кельтов в район древних поселений в Иллирике» (Нарцы и Волхи на Дунае. «Советская этнография», 1948, № 2). Д. С. Лихачев в комментариях к «Повести временных лет» высказывает предположение, что летописец, пользовавшийся какими-то смутными народными преданиями, имел неясные представления на этот счет. Все эти гипотезы относятся к толкованию значения слова *волох* только в одном отрывке «Повести временных лет» — в сообщении о нападении волохов на дунайских славян. Летописец же еще несколько раз упоминает об этом народе. Он сообщает, что волохи, как и шведы, русские, англ, норманны, римляне, немцы и другие народы являются потомством Иафета: «Афетово бо и то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, нѣмци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии». Мы видим, что римляне и волохи являются разными народами. Далее Нестор под 6406 (898) годом упоминает о том, что угры, перейдя Карпаты, «прогнаша волъхи». Конечно, не войска Карла Великого и тем более не древних кельтов изгнали угры из придунайских равнин. Для летописца XII века волохи — определенный европейский народ, живущий вблизи славянских земель. Какой же?

Обратимся к истории общеславянского *volchъ*. Этимологи (В. Махек, М. Фасмер, А. Преображенский, А. Брюкнер и другие) считают, что этот древний этноним восходит к названию кельтского племени вольков (латинское название *volcae*, греческое *Ὀβόλῃσι*). Первоначально, вероятно, это наименование было самоназванием кельтского племени и после заимствования германскими языками употреблялось в них как внешний этноним (так древние германцы называли представителей племени вольков). В связи с широкой миграцией кельтских племен значение этнонима расширяется до 'кельт вообще', а затем и 'чужеземец'. С подобным значением выступают древненемецкие слова *walah*, *walh*, древнеанглийское *wealh*. Позже, когда все кельтские племена в континентальной Европе были романизированы, благодаря значительной близости кельтских и итальянских языков, в германских языках наступает замена значения 'кельт' на 'представитель романских народов'.

Примерно в VII веке нашей эры славянские народы заимствуют *volchъ* из германских языков. Сразу же со словом происходят существенные изменения. Во-первых, в VIII—X веках в славянских языках наступает переход сочетания *-ол-* между согласными в сочетании *-оло-*, *-ла-*, *-ло-* и под влиянием этого языкового явления древние *волги* превращаются в русских *волохов*, болгарских *влахов* и в польских *влохов*. Во-вторых, конкретизируются значения этих новых слов. В древнерусском языке *волохами* именуют ближе всего живущих романцев — подунайских румын. Именно их, вероятно, имеет в виду Нестор в своей летописи. Конечно, при записи отрывка о вторжении волохов на Дунай летописец располагал преданиями или другими источниками о каких-то событиях в этом районе. Но он отождествляет этих волохов-завоевателей с современными ему волохами. Летописец нигде не оговаривает того, что *волохами* он в разных местах летописи называет разные народы.

Позже в русский язык из венгерского пришло слово *валах*, которое вытеснило *волох*. А. С. Пушкин, например, уже называет румын *валахами*. Герой «Кирджали» говорит: «Для турков, для молдован, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость». В настоящее время и этот этноним исчез из активного словарного запаса русского языка, а вместо него употребляется *румын* (из самоназвания румынского народа).

Как же появились слова *валах* 'представитель моравского племени' и *влах* 'православный серб'? Как известно, румыны занимались скотоводством. Постепенно они продвигались на запад по Карпатам и в XII—XIII веках колонизировали восточную часть Моравии. Имя румынских скотоводов распространилось на местное

население, говорящее на моравско-словацких диалектах словацкого языка. Под влиянием словацкого или чешского языка значение «представитель моравского племени, житель моравской Валахии» появилось и у русского этнонима *валах*, и название стало многозначным. Уточняющее определение устранило многозначность: жителей моравской Валахии именуют *моравскими валахами*.

Определить северную границу, куда добирались румынские пастухи, помогает наличие в языках слова *валах*. В польском языке имеется слово *wałach* «житель горных окрестностей Тешина». Город Тешин лежит на границе Чехословакии и Польши, недалеко от моравской Валахии.

Южные славяне издавна имели широкие контакты с итальянцами. Между сербскими, хорватскими, черногорскими и итальянскими городами велась многосторонняя торговля, поэтому многие сербы переезжали жить в Италию. Так и попал в Венецию пушкинский герой Дмитрий Алексееч.

В. СУПРУН

Волгоград

ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

А ВАШЕ МНЕНИЕ?..

Ответ см. с. 65.

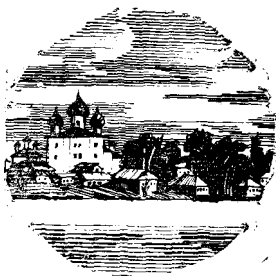
I. Чтобы упасть на колени «перед иконостасом», бедному габровцу пришлось бы бежать в церковь, так как *иконостас* — «стена в церкви или в соборе, в которую вставлены иконы». Эта стена (иконостас) отделяет алтарь. Не в алтаре же спал почтенный габровец!

В приведенной цитате нарушено словоупотребление, смешиваются два разных слова, вместо *иконостаса* следовало написать: «габровец опустился на колени перед *иконой*, *образом* или перед *божницей*, *киотом* (во времена Пушкина употреблялось и *киот*), если икон было несколько и все они были объединены одной рамкой (или просто висели рядом).

II. Нарушено формообразование. От имени существительного *курица* — множественное число *куры* (курицы — только форма родительного падежа единственного числа). Современные словари (см., например, Словарь русского языка С. И. Ожегова, М., 1975) допускают форму множественного числа *курицы* только в связанном словосочетании «мокрые курицы» — «о жалком на вид или бесхарактерном человеке» — разговорное, пренебрежительное.

В данном тексте такое формообразование невозможно, так как слово употреблено в прямом, номинативном смысле.

ОБЛАСТНЫЕ ГОВОРЫ



ГОВОРЫ ВЕРХНЕ- ВОЛЖЬЯ

«Изучение родной речи — это великое дело. Самые высшие достижения человеческой мысли, самые глубокие знания и самые пламенные чувства останутся неизвестными для людей, если они не будут ясно и точно оформлены в словах» (М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании. М., 1956).

Внимание широкой общественности привлекли недавние издания Калининского государственного университета, посвященные говорам тех верхневолжских мест, где прошли детство и отрочество М. И. Калинина.

Сам Михаил Иванович, хорошо зная язык простого народа, особенно крестьянства, постоянно использовал его богатейшие изобразительно — выразительные средства в своих выступлениях и статьях.

Каков же (по выражению М. И. Калинина) «материнский язык» жителей Верхневолжья? О нем можно получить представление, читая «Опыт словаря говоров Калининской области» (Калинин, 1972), составленный авторским коллективом КГУ (Т. В. Кирилловой, Н. С. Бондарчук, В. П. Куликовой и А. А. Беловой) под редакцией профессора Г. Г. Мельниченко.

«Опыт», содержащий около четырех тысяч слов и словосочетаний, представляет собой словарь дифференциальный, в него помещена только диалектная лексика, отсутствующая в современном литературном языке. Слова в «Опыте» расположены в алфавитном порядке, отдельными статьями представлены производные слова и варианты слов, словосочетания и фразеологизмы. Заглавное слово, имеющее ударение и грамматическую характеристику, сопровождается пометами, толкованием и иллюстрациями. В конце каждой словарной статьи дается ссылка на словарь.

В. И. Даля, что позволяет определить широту распространения слова за пределами говоров Калининской области. Вот пример одной словарной статьи:

Слетье, я, ср. 1. Летняя погода (хорошая или плохая) (Говорят старые). «Плахое слетье — плахая погода, хорошее слетье — хорошая погода». «Слетье-то плохое — дош». «Какое плохое слетье стоит». «Хорошее слетье — вёдро». «Вот теперь слетье худое пошло, дождик». «Завтра опять будет слетье — небо вечером чистое». «Слетье испортилось». «Сегодня такое теплое слетье».

2. Хороший урожай овощей или других культур. «Плохое слетье — плохое лето, не родилось ничего. Прежде говорили. «Ноне слетье — всего много уродилось». «Ныне льну много — больно хорошее слетье».

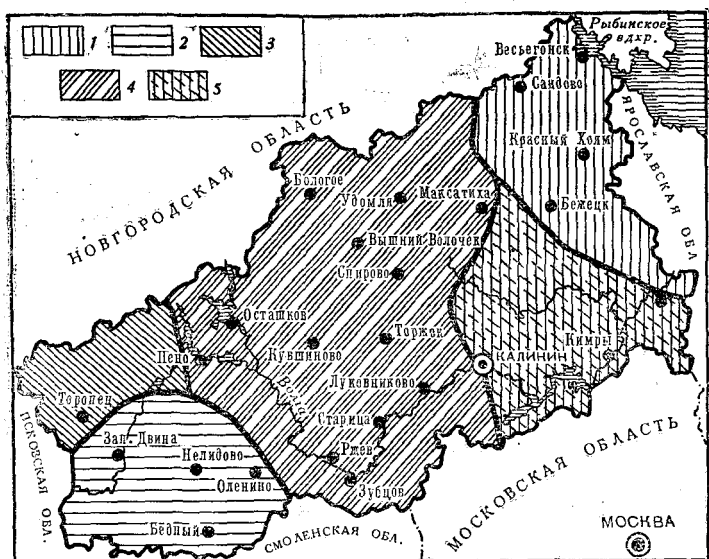
3. Отдых, передышка, перерыв. «Никто так не трудится, а он и слетья не знает». «Уж так он много болеет, что не видит сам себе слетья». «Уж он заработался, никакова слетья не видит — все время на работе». «Ребенок не видит никакова слетья — все время больной» (Даль прм. лето, летняя пора. Стар. сев., ниж., мск. — русск. что лето дает, особ. плоды, овощи, подспорье хлеба. IV, 229).

Говоры современной Калининской области отличаются пестротой, сложившейся исторически: в давние времена здесь проходила граница между новгородскими словенами и восточными кривичами, позже — между новгородскими, смоленскими и ростово-суздальскими землями. В XIV—XVI веках в связи с образованием Русского государства и объединением этнических и диалектных групп вокруг Москвы, территория области очутилась в центре формирования средневеликорусских говоров, сочетающих в своей структуре черты северных и южных диалектов.

Этот смешанный характер говоров Калининской области особенно ярко проявляется в фонетическом и грамматическом варьировании, примером чего могут служить наименования хода в подполье: *ка́ржина*, *ка́ржинка*, *ка́рзин*, *ка́рзина*, *ка́рзинка*, *ка́рзинь*, *ка́рзник* и др.

В «Опыте словаря говоров Калининской области» нашла отражение лексика, широко распространенная в русских народных говорах. Яркая, образная лексика удивительно точно отражает самые разные стороны жизни и деятельности народа, она касается земледелия, животноводства, промыслов, утвари, пищи, флоры, фауны и т. д.

Интересны названия домашних животных в зависимости от возраста: *сосо́к* — «жеребенок до 1 года», *стрига́н* — «годовалый жеребенок», *вборонёк* — «лошадь по второму году», *лоша́к* — «лошадь 3 лет», *сосо́а* — «лошадь по четвертому году», *подтёлок* —



Диалектологическая карта Калининской области

1 — говоры северного наречия; 2 — говоры южного наречия; 3 — среднерусские говоры Псковской группы; 4 — среднерусские говоры Селигеро-Торжковской группы; 5 — Калининская подгруппа среднерусских говоров Владимиро-Поволжской группы

‘корова по второму году,’ *приб́лок* — ‘корова по третьему году,’ и другие.

Богата лексическая группа со значением ‘пища’: *баба́ха* — ‘блин’; *ба́лиша*, *заваря́ха*, *кули́га*, *маку́шка* — ‘мучная каша’, *яблочник* — ‘кушанье из картофеля’, *ку́рник* — ‘пирог с мясом’; *коко́рка*, *колоба́ка*, *курзя́тка*, *пря́женец*, *опе́киш*, *па́пушник* и другие — ‘лепешка’, *голы́шка* — ‘суп из ячневой крупы’ и т. д.

Многочисленны междialeктные синонимические параллели. Например, белый гриб называют следующими словами: *коро́вка* — *коровя́тик* — *красноголо́вик* — *красови́к* — *ма́сленик* — *медвежа́ник* — *оба́бок* — *печо́ра* — *подосен* — *подъя́лыш* — *поплаво́к* — *сла́вный*.

Для характеристики отрицательных и положительных качеств человека в говорах имеется множество слов, обладающих большой эмоционально-экспрессивной силой. Приведем лишь часть их: *валю́га* — ‘медлительный’, *недо́луй* — ‘неловкий’, *заварза́й* — ‘неряшливый’, *нехлюжа́вый* — ‘невзрачный’, *забыеу́ха* — ‘забычивый’, *отчаро́ванный* — ‘бойкий’, *додельный* — ‘ловкий’,

гомѣза — 'расторопный', *дѣужий*, *тѣльный* — 'здоровый', *баскѣй*, *рѣжій* — 'красивый', *мозголовый* — 'сообразительный', *разумѣтый* — 'умный'.

К «Опыту словаря говоров Калининской области» приложены рисунки, помогающие лучше понять некоторые этнографические особенности крестьянского быта (виды глиняной посуды, корзин, сельскохозяйственных построек, укладок снопов и сена, частей ткацкого стана и т. д.).

Каждое диалектное слово имеет указание на территорию его распространения; к словарю, помимо списка географических помет, дана карта обследованных селений — около 500 населенных пунктов.

Для читателей, интересующихся особенностями диалектов Калининской области, хорошим справочником послужит исчерпывающий список исследований этих говоров, данный в конце книги.

Областной словарь рассчитан и на широкий круг читателей, и на филологов-специалистов, поэтому к нему приложены два типа словников. В первый включены слова, зафиксированные в современных говорах Калининской области и отсутствующие в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. Во второй — слова, взятые из словаря В. И. Даля и сохраняющиеся в настоящее время в говорах Калининской области.

В «Опыте», к сожалению, небогато представлена фразеология, не во всех словарных статьях имеются полные тексты, иллюстрирующие значения слов в живой речи. Однако эти недостатки в значительной степени восполняются материалами хрестоматии «Народные говоры Калининской области» (Составили Т. В. Кириллова и А. А. Белова. Калинин, 1971).

Хрестоматия открывается очерком «Диалектологическая карта Калининской области», в котором, в соответствии с новым диалектным членением русского языка, представлены все основные типы среднерусских говоров и отдельные группы севернорусского и южнорусского наречий (см. карту). Это своеобразное введение настраивает читателя на серьезное, творческое чтение текстов с учетом определенных языковых черт, присущих различным калининским говорам.

Научная направленность хрестоматии подчеркивается четким расположением материала: в первой части помещены тексты, представляющие говоры с полным или частичным различением гласных в безударных слогах (говоры *окающие*), во второй — говоры с неразличением гласных (*акающие*). Внутри каждой части выделены диалектные группировки на основе отдельных, но важных для характеристики говоров признаков: говоры *цокаю-*

щие и с различием *ц* и *ч*, говоры с различными типами яканья и др. Такое расположение текстов делает возможным целенаправленное использование материалов хрестоматии при изучении курса «Русская диалектология» студентами филологических факультетов.

В хрестоматии собраны тексты, записанные самими авторами, и извлеченные из различных, главным образом рукописных, малодоступных источников. По содержанию они разнообразны — это рассказы информаторов о прошлом и настоящем деревни, воспоминания о боях с фашистами, необычные случаи из жизни, описание свадебных обрядов, сказки, песни, частушки и т. д. Любопытны легенды о происхождении местных топонимов, вот одна из них:

(О названии села «Молодой Туд»)

«... была́ там сва́д'ба / но вот мэладóму чилаве́ку неvéста не пон-
ра́вилэс' // он взял дэ и убежа́л и спры́тэлся пад мо́ст // по́сли ста́-
ли искáт' / каўда́ нашлй́ / то крича́ли / мэладóй тут / мэладóй тут //
атсю́да и назва́ние „Мэладóй Туд“ //».

Интересны и ценны отрывки живой разговорной речи, в которых отражены заботы сегодняшнего дня: «... а у меня́ не-
сця́сь'йе // а што́ же? // офца́ на дворе́ // пошто? // отшы́бли // номёт'
перен'я нога́ / фце́ра гляжу́ друга́ / насй́лу идет // ну ка́же / рас мо́-
ци не́ту // како́ несця́сь'йе / а пошто́ / скоты́на ай винова́та //».

Каждый текст имеет свой «паспорт» — указание, где, когда, от кого и кем произведена запись. В конце хрестоматии приложен словарь, в котором пояснены диалектизмы, встречающиеся в текстах, кроме того, в книге имеется диалектологическая карта области; список селений, где сделаны записи; указатель собирателей текстов и библиография,— все это придает дополнительную фактическую и научную ценность работе.

«Опыт словаря говоров Калининской области» и хрестоматия «Народные говоры Калининской области» представляют интерес не только для специалистов, не только для студентов-филологов, их данные могут быть использованы учителями, работниками печати и радио, писателями, лекторами и пропагандистами. Эти издания являются значительным вкладом в изучение говоров Калининской области. С материалами словаря и хрестоматии полезно познакомиться всем любителям родного слова, ведь они позволяют получить представление о «материнском языке» народа.

Н. Ю. МЕРКУЛОВ

Калинин

В начальной строфе стихотворения «Анчар» три основных опорных, или ключевых, образа: *пустыня, почва, анчар*.

Процесс формирования художественного образа очень сложен и, конечно, может быть восстановлен только в основных этапах.

Мы попытаемся проследить последовательную замену эпитетов при опорных словах, знаменующую рождение художественного образа.

I. Первая стиховая строка имела сначала такой вид:

«В пустыне глухой» —

намечены краевые точки стиха, начало и конец, центральной части стиховой строки еще нет. Надо сказать, что такая стадия работы встречается в рукописях Пушкина сравнительно часто.

Поэт «заносил на бумагу почти все моменты своей творческой работы: целый стих, части стиха, отдельные слова, иногда в полном беспорядке, торопливо, в волнении, зачеркивая одно и заменяя другим, снова возвращаясь к первому, опять его зачеркивая и опять восстанавливая...» (С. Бонди. Черновики Пушкина. М., 1971). Вот первоначальные варианты первой стиховой строки: «В пустыне *глухой*//*знойной* и *глухой*//*мертвой* и *глухой*//*тощей* и *глухой*». В окончательном тексте «В пустыне *чахлой* и *скупой*» сохранилось смысловое ядро черновых редакций.

II. Первоначальный вариант второй стиховой строки «На *почве мертвой раскаленной*» был заменен окончательным «На *почве зноем раскаленной*», при этом в причастии *раскаленной* оживлена производящая основа глагола *раскалить* именно благодаря введению «творительного субъекта, производителя действия»: *...зноем* *раскаленной*...

III. Два заключительных стиха первой строфы имели следующие варианты: I. «Анчар, *феномен роковой* // Растет, один во всей вселенной»; 2. а) «Анчар, *кустарник роковой*»; б) «Анчар, как (*бодрый*) *грозный часовой* // Растет, один во всей вселенной».

Как видно из сопоставления вариантов строк, в окончательном тексте постепенно усиливалась персонификация (олицетворение) Анчара, символизирующего зло. Отсюда и соответствующие замены: Анчар, *кустарник роковой* // Анчар, как *грозный часовой*, вместо первоначального *растет*, в окончательном тексте *стоит*... Мотив фатального одиночества, неприкаянности, противопоставленности всему живому (*Стоит — один во всей вселенной*) выделен в тексте паузой, графически обозначенной тире. Вот окончательная редакция двух последних стихов первой строфы:

Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.



ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

(Окончание)

Русские летописи принадлежат к числу важных источников по истории, культуре и языку.

Наиболее древними из дошедших до нас являются: Новгородская первая летопись, записи в которой делались в XIII—XIV веках; Лаврентьевская, переписанная монахом Лаврентием в 1377 году с более ранней летописи (монах Лаврентий в записи, сделанной на последнем листе, сообщает, что переписал он «летописец» при князе суздальском и нижегородском Дмитрии Константиновиче. Полагают, что Лаврентьевская летопись была написана в Суздале, по другим мнениям — в Нижнем Новгороде); Ипатьевская летопись найдена в Ипатьевском монастыре, расположенном недалеко от Костромы, написана, по-видимому, в Пскове, в начале XV века.

Самая ранняя летопись, дошедшая до нас, датирована XIII веком, однако первые летописные записи появились гораздо раньше — в начале XI, а может быть даже и в конце X века. Ученые, занимавшиеся исследованием русского летописания, считают, что уже в XII веке во многих русских монастырях, городах и княжествах составлялись летописи. Летописные сведения записывались очевидцами или по рассказам действующих лиц описываемых событий. Отличительной чертой летописного повествования является изложение конкретных, точно датированных исторических фактов. Для большей достоверности включался пе-

речень действующих лиц. Этой же цели служила детализация изложения. Помимо записей, современником которых являлся летописец, переписывались и старые, ранее сделанные записи.

Летописцами были как духовные лица (монахи, игумены, епископы), так и мирские (посадники и даже князья). Академик Б. А. Рыбаков в своей книге «„Русские летописцы“ и автор „Слова о полку Игореве“» воссоздает достоверные портреты ряда летописцев XII века: Моисея Выдубицкого, Кузьмище-киянина, галицкого книжника Тимофея, прослеживая на обширном летописном материале их биографии. Это образованнейшие для своего времени люди, которым были известны произведения русских и иностранных авторов. Знакомые с устным народным творчеством (сказаниями, былинами, пословицами, песнями), они умело использовали его в своем повествовании. Переписывая накопленный исторический материал, летописцы создавали обширные, разнородные по своему составу и содержанию сочинения — летописные своды. Известный советский ученый академик Д. С. Лихачев, которому принадлежит обобщающий труд о русских летописях XI—XVI веков, справедливо называет летописи своеобразными историческими энциклопедиями.

Погодные записи событий — летописи — создавались летописцами с определенных политических позиций. Подбор материала в летописи соответствовал той или иной политической концепции, отвечавшей требованиям тех лиц, по чьей инициативе составлялась летопись. На протяжении многих столетий летописи были главным источником, отражающим политическую жизнь русской земли.

Выше отмечалось, что дошедшие до нас списки русских летописей относятся к сравнительно позднему времени (XIII—XV вв.). Однако исследователям удалось выявить наиболее ранние тексты. Так, в конце XIX века выдающийся лингвист академик А. А. Шахматов восстановил на основании поздних летописных списков (XIV—XVI вв.) «Повесть временных лет», текст, относящийся к XII веку. Это один из древнейших летописных сводов. Он составлен монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII века. Свод этот включен в качестве начальной части в Лаврентьевскую и Ипатьевскую летописи.

В отношении языка летописи интересны тем, что в них сосредоточен разнообразный материал, дающий представление о различных по жанру и по времени написания произведениях. В языке это проявилось в своеобразном смешении народно-разговорных и церковно-книжных элементов в повествованиях, составляющих летопись. Отражены местные особенности языка, присущие разным областям русской земли, употребление которых объясняется

прежде всего тем, что летопись — не произведение одного какого-то автора, а сочинение многих писателей, создававшееся в течение долгого времени. Кроме того, в зависимости от той или иной политической направленности, проводилось редактирование текста: из него исключались отдельные отрывки или, наоборот, какие-то части повествования дополнялись и даже перерабатывались.

Вернемся к наиболее древнему летописному повествованию — «Повести временных лет». Вначале ее изложение не соотносится с датами, в ней рассказывается о библейском потопе, вавилонской башне, передаются предания о происхождении славян, об их расселении, об основании Киева князьями славянского племени полян: Кием, Щеком, Хоривом и сестрой их Лыбедью, — о войнах с хазарами.

Первая дата, являющаяся, по словам летописца, началом земли русской, — 825 год. После этого летописный рассказ ведется погодно.

Первые документальные источники — это договоры князей Олега, Игоря и Святослава с греками. Они зафиксированы в «Повести временных лет». По мнению известного лингвиста профессора Б. А. Ларина, договоры представляют собой протокол устных речей договаривающихся сторон — русских и греков — и являются первыми важнейшими памятниками русского делового языка X века. Приведем пример из договора Игоря с греками, датированного 944 годом: «Аще ли кто покусится от Руси взяти что от люднн цесарства вашего, иже то створить, покаженъ будетъ вельми. Аще ли взялъ будетъ, да заплатитъ сугубо. И аще створить грѣчинъ русину, да приметъ ту же казнъ, яко же принялъ есть и онъ».

Деловой язык договоров русских с греками близок языку первого русского свода законов, именуемого «Русская правда». Полагают, что законы «Русской правды» сначала появились в устной традиции, а в XI—XII веках были записаны в Новгороде. Статьи «Русской правды» по своей синтаксической структуре очень близки договорам; в них господствуют условные предложения, в таком же стиле написаны и другие, известные нам договорные грамоты. Вот как воспроизведены статьи из «Русской правды»: «А оже уведеть чюжь холопъ любо робу, платити ему за обиду 12 гривнъ. А оже лодью украдетъ, то за лодью платити 30 рѣзанъ...».

Одна из основных идей исторического повествования «Повести временных лет» — стремление к объединению и миру на русской земле, призыв к прекращению княжеских междоусобиц: «Не мосьте погубити Русьскыѣ земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и възмутъ землю нашу, иже бѣша стяжали отци ваши и дѣди трудомъ великимъ и храбрѣствомъ,

Новгородская
летопись
по синодальному
списку

иже погослашенихъ зъпрѣа а нѣ
городѣ злѣбѣ велики ка дѣржи
и оуплахоуть по ѣ грѣнъ а оуа
по ѣ грѣнъ а рѣнѣ възъ по грѣнъ
нѣ ка да хоу людѣи новѣи кору
и лѣтѣ дѣнъ повѣи и мѣхъ о горѣ
тагда бѣ рѣнѣ бѣше дѣтѣи сѣи да
ка хоуть о дѣрѣнѣ и по ставиша
сѣи оу дѣлѣи ницѣи и на кѣташа по
лнѣ оу горѣ бѣше по тѣ рѣнѣ
ниѣ по оу лица тѣи тѣ рѣнѣ по
полѣ тѣ рѣнѣ ниѣ не мѣхъ хоу си
нѣ дѣтѣи чѣлѣкѣи а оу мѣнѣ по
тѣ рѣнѣ а оу станѣи кѣ рѣнѣ
и тѣко по горѣ хоу тѣи ашѣи тѣ рѣ
нѣи сѣи ашѣи ашѣи нѣ градѣ
нашѣ. Новгородѣи нѣи оу станѣи
кѣи нѣи зѣи нѣи ашѣи ашѣи
а шѣи нѣи ашѣи нѣи ашѣи
а шѣи нѣи ашѣи нѣи ашѣи

побарающе по Русьскѣи земли». Эти строки наполнены высоким патриотическим чувством. Не используются в современном языке лишь отдельные грамматические формы и такие выражения, как: *взять рать* — «начать войну»; *погании* — «чужеземцы, язычники»; древнерусская форма давнопрошедшего времени *бѣша стяжали*; слова *храбрость*, *доблесть* с суффиксом *-ство* — *храбрѣство*; причастная форма *побарающе* — «сражаясь».

Особенно почитаем в «Повести временных лет» Владимир Мономах как борец за объединение всей русской земли, воин и охотник. Так, под 1097 годом в летописи рассказывается о съезде князей, созванном в Любече Владимиром Мономахом с целью договориться о прекращении междоусобиц.

В составе «Повести временных лет» дошли до нас замечательные образцы древнерусской литературы. Одним из таких интереснейших древнерусских сочинений является «Поучение» Владимира Мономаха, вместе с его автобиографией включенное в Лаврентьевскую летопись под 1096 годом. Язык, которым оно написано, близок разговорному, вместе с тем, Мономах — человек высокой

культуры, ему хорошо знакома литература того времени, по преимуществу церковная. В своем изложении он свободно пользуется «книжными» словами и выражениями, не перегружая, однако, ими свой рассказ.

«Поучение» написано Мономахом на склоне лет, как наставление детям. Ценность его заключается в том, что это — первый оригинальный образец мемуарной литературы. Мономах подводит итог своей долголетней жизни, повествуя о своих ратных и охотничьих делах. Свою миссию Владимир Мономах видит и в защите слабых от сильных, предлагая детям следовать своему примеру: «...И худого смерда и убогие вдовице не дал есмь сильным обидити... всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите и придавайте сироте, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте сильным погубити человека. Ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убити его».

В заключение автор скромно замечает: «Да не зазрите ми, дети мои, ни ин кто прочтет; не хвалю бо ся, ни дерзости своея, но хвалю бога и прославляю милость его, иже мя грешнаго и худаго селико лет соблюде от тех час смертных, и не лънива мя быль сотворилъ худаго на всѣ дѣла человеческая потребна». В последней фразе «Поучения» употреблена древнерусская форма давнопрошедшего времени: *быль сотворилъ*. Остатки ее можно наблюдать и теперь в сочетаниях *жил был* в начале сказок и рассказов.

«Повесть временных лет» сохранила нам старинные легенды, бытовавшие в народе. Так, под 997 годом в ней записан рассказ о белгородском киселе, восходящий к фольклорной традиции. В нем идет речь о длительной осаде печенегами Белгорода и о хитрости, придуманной осажденными. Белгородцы показали десяти приглашенным печенегам, что никакая осада им не страшна, так как они кормятся «от земль»: из одних колодцев черпают *цѣжь* «раствор муки для заваривания киселя», из других — *сыту* «воду, подслащенную медом», варят кисель и едят. Рассказ насыщен народной лексикой и написан в живой разговорной манере.

К народному творчеству может быть возведен и рассказ о гибели князя Олега от собственного коня. Этот сюжет вдохновил А. С. Пушкина на создание «Песни о вещем Олеге». Пушкину он был известен из «Истории Государства Российского» Карамзина.

Со школьных лет помнят читатели и предание о мести княгини Ольги древлянам за смерть мужа, также описанное в летописи.

Еще раньше чем в Киеве началось летописание в Новгороде. Ученые, занимавшиеся исследованием текста Новгородской первой летописи, обнаружили, что она содержит сведения, восходящие к XI веку. В Новгородской летописи сохранился древнейший летописный свод, предшествовавший «Повести временных лет».

Рисунки
на листе
из Изборника
1073 г.



Академик А. А. Шахматов возводит его к начальному своду 1093 года.

Погодные записи Новгородской первой летописи велись еще в XI веке. Новгородская летопись по языку и стилю существенно отличается от Киевской. Записи Новгородской летописи очень лаконичны, однако это не лишает их предельной выразительности. Вот, например, строки о голоде, охватившем Новгород в 1230 году: «Горькая бѣдная память тои весны... на улицѣ скорбѣ другъ с другомъ, дома тоска, зряще дѣтей плачущихъ о хлѣбѣ, а другихъ умирающихъ». Рассказывается и о пожарах — деревянные строения Новгорода горели не один раз: «Бысть пожаръ лють и пакости людемъ много». Не менее ужасным бедствием были различные эпидемии: «Множество бесчисленно людей добрых помре тогда», — записано в летописи о свирепствовавшей чуме. Говорится в ней и о подъеме воды в Волхове, затянувшейся дождливой погоде, небесных знамениях, народных волнениях и т. п. Некоторые записи Новгородской летописи по своему характеру близки к деловым документам, например, замечания летописца о ценах на рожь, овес, репу и т. п. Демократизация описываемых в этой летописи событий объясняется тем, что Новгород в середине XII века уже был республикой и республиканский строй правления наложил своеобразный отпечаток на летописание. Первый Новгородский летописный свод был составлен при новгородском епископе Нифонте. В дальнейшем этот свод повторялся и в других новгородских летописях, их известно несколько.

В Новгородской летописи нашли отражение особенности местного новгородского говора. Одной из наиболее древних диалектных черт, характерных для северновеликорусских говоров, является так называемое цоканье — смещение звуков *ц* и *ч*, что выражается в письме перазличением букв, обозначающих эти звуки.

В новгородских летописных текстах можно наблюдать, например, такие написания: *у мирославица* вместо *у мирославича*, *пятнича* вместо *пятница*, *цстьных* вместо *чстьных* и т. д.

Стремясь к наиболее точному и достоверному изложению событий, летописцы очень часто прибегали к прямой речи, отличавшейся конкретностью, образностью и выразительностью. Вот слова князя Изяслава Мстиславовича: «луче, братье, измрем сде, нежели сесь сором възмем на ся». Прямая речь — одна из характерных черт летописного повествования. Это свидетельствует, во-первых, о высокой ораторской культуре в начальный период русского летописания, во-вторых, — о желании наиболее живо и реалистично донести до читателя происходившее.

Для исследователя древнерусского языка и литературы летописи представляют богатый материал. Разнообразная лексика (бытовая, церковно-книжная, военная и др.), специфический, присущий именно летописному повествованию синтаксис, фонетика и морфология, отражающие черты древнейших местных говоров, привлекали и привлекают внимание многих ученых. Исследованию языка, истории, состава и литературных особенностей летописей посвятили свои работы такие ученые, как: А. А. Шахматов, Е. Ф. Карский, И. И. Срезневский, С. П. Обнорский, В. И. Боровский, Д. С. Лихачев, А. Н. Насонов, Ф. П. Филин, Е. С. Истрина и многие другие.

Количество летописных источников очень велико, ценность заключенных в них сведений для ученых разных специальностей неоспорима.

С текстами основных летописных сводов читатель может познакомиться по изданиям:

1. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. АН СССР. Институт истории. М.—Л., 1950.

2. Лаврентьевская летопись. Полное собрание русских летописей, т. 1, издание 2, Л., 1926—1928.

3. Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, т. 2, издание 2, СПб., 1908.

Очень распространены были сборники, включавшие в себя разнообразные произведения, предназначавшиеся для чтения. Многие из них содержат рассуждения о пользе книг: «Подобны бо суть книги глубинѣ морстей, в ню же попыряюще износятъ бисер драгѣи», — написано в старинном сборнике «Измарагде» (Изумруде).

Энциклопедические сведения содержит также Изборник, написанный (скорее всего в Киеве) в 1073 году для князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Это — роскошная рукопись большого формата, состоящая из 266 листов. Особую ценность в

ней представляет групповой портрет княжеской семьи — подобные изображения неизвестны в древнерусских рукописях. В этом сборнике содержится свыше четырехсот статей: трактат «о творческих образах», в котором содержатся отдельные правила византийской поэтики; различные сведения из астрологии и другие, преимущественно назидательные или просветительные статьи. Оригинал послужил, по-видимому, сборник, составленный в IX веке для болгарского царя Симеона. В 1073 году его переписал дьякон Иоани. В украшении этого Изборника принимали участие и художники (помимо княжеского семейного портрета в нем имеются еще три миниатюры, красочные заставки и инициалы). Изборник Святослава 1073 года издан фототипическим способом в 1880 году.

Даже беглый обзор некоторых древнейших памятников письменности показывает, что рукописные книги древней Руси содержат в себе множество интересных исторических и литературных сведений и являются ценным источником для изучения истории нашего родного русского языка.

Н. П. ПАНКРАТОВА

**Статьи о древнейших памятниках письменности,
напечатанные в нашем журнале:**

1. В. И. Борковский. Грамоты на бересте (№ 3, 1968).
2. Л. Е. Лопатина. Тмутараканскому камню 900 лет (№ 3, 1968).
3. Л. В. Черепнин. Грамоты на бересте (№ 4, 1971).
4. Л. П. Жуковская. Что читали на Руси в XI—XII веках (№ 4, 1973).
5. Л. П. Жуковская. Инициалы в древнерусских рукописных книгах (№ 3, 1974).
6. Н. П. Панкратова. О древнерусской тайнописи (№ 4, 1974).
7. С. А. Высоцкий. Летописи на древних стенах (№ 1, 1975).
8. Н. П. Панкратова. Древнейшие памятники письменности (№ 1, 1976).
9. Н. И. Прокофьев. Бессмертная поэма древней Руси (№ 5, 1975).
10. С. И. Котков. Лексические элементы «Слова о полку Игореве», связанные с Новгород-Северской землей (№ 5, 1975).
11. В. А. Козырев. «Слово о полку Игореве» и современные русские народные говоры (№ 5, 1975).

Редакция предполагает в следующих номерах журнала рассказать более подробно о таких интересных древнерусских памятниках, как «Шестоднев», «Изборник 1076 года» и других.

УССКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА

Самые ранние из дошедших до нас свидетельств о любви русских людей к книге и почитании ее содержатся в тексте «Повести временных лет», Троицком списке Первой новгородской летописи и, наконец, в составе одной из самых ранних книг для чтения — Изборнике 1076 года.

На протяжении XI столетия письменные источники обнаруживают не просто признание пользы просвещения, а значение книжного чтения в воспитании чувств и формировании внутреннего строя человеческой личности. Для столь высокой оценки книжного чтения в духовной жизни человека должна была быть не менее высокая общая культура, хотя бы в кругу любителей «книжного научения». Письменные источники содержат разнообразные свидетельства, в сумме дающие достаточно широкую историческую картину духовной жизни Руси X—XI веков.

Летописец свидетельствует об обширном знакомстве Руси с книжной культурой Византии и славянского мира к моменту принятия веры Владимиром. Под 1037 годом в «Повести временных лет» содержится известие о переводческой деятельности в княжение Ярослава, который «к книгам проявлял усердие, читая их ночью и днем. И собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг...».

Любя книги и заботясь об их создании, Ярослав положил основание первой русской библиотеке.

В житии Феодосия содержится известие о монастырской книжной мастерской со строгим разделением труда книгоделателей: переписчиков, переплетчиков, а, возмож-

но, и авторов текста. Таким образом, можно с уверенностью говорить о существовании по крайней мере двух книгописных мастерских, о которых в середине и второй половине XI века мы имеем письменные известия. Переводческая деятельность Ярослава относится к 1037 году, под тем же годом упоминается создание великокняжеской библиотеки при храме св. Софии. Что же касается писания книг в Киево-Печерском монастыре, то осуществление его можно связывать с принятием в монастыре Студийского устава (1062), в котором занятие книгоделательным искусством почитается одной из главных монашеских обязанностей.

В первые десятилетия XII века летопись велась в Михайловском монастыре, и есть все основания предполагать там наличие скриптория (скрипторий — рукописная мастерская).

Письменные источники свидетельствуют о скрипториях великокняжеских, монастырских, добавим и митрополичьих: в середине XI века русский митрополит Илларион самим текстом «Слова о законе и благодати» не только говорит о высоте своего ораторского искусства, но и о широком знакомстве с переводной греческой литературой.

Новгородские письменные источники и сами памятники рукописной книги сохранили до наших дней имена писцов, заказчиков и художников. Книжная статистика, возьмем хотя бы старую работу Н. В. Волкова (Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков и их указатель. СПб., 1897) или «Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV веков, хранящихся в СССР (Археографический ежегодник за 1965 год. М., 1966), зарегистрировала наличие в наших хранилищах тридцати трех рукописей (включая отрывки) собственно XI века и еще семнадцать рубежа XI—XII веков. Они представляют собой преимущественно книги богослужебного характера, однако среди них мы имеем два собственно «четых» сборника (Изборник Святослава 1073 года и Изборник 1076 года). Кроме того, о книжной культуре того времени свидетельствует ряд памятников, сохранившихся в более поздних списках. Это прежде всего летописи (Повесть временных лет, Новгородская первая летопись), «Хроника Амартола», «Александрия», «Христианская топография Козмы Индикоплова», повесть об Акире премудром и ряд житий (жития Владимира, Бориса и Глеба и другие).

. Представим себе важнейшие памятники орнаментированной и иллюстрированной книги, сохранившиеся до наших дней, рассмотрим типы и принципы оформления и иллюстрирования и тогда уже попытаемся оценить уровень книгоделательного искусства на Руси в XI веке.

Самый ранний памятник — Остромирово евангелие — служил предметом многих статей и исследований, как с точки зрения филологии, так и искусствознания.

«Остромирово евангелие» — неполный апракос — имеет стройную систему оформления: каждый цикл чтений открывается изображением евангелиста (Иоанна, Марка, Луки, изображение Матфея утрачено) (Л. П. Жуковская, Связь изучения изобразительных средств и текстологии памятника. — В сб.: «Древнерусское искусство. Рукописная книга: почерк, миниатюры, орнаментика». М., 1974), представляющим собой фронтиспис с изображением автора (традиция, как известно, восходящая к античности). Изображение евангелистов окружено орнаментальной рамой. Начало данного цикла чтений открывается большой заставкой классического «византийского» стиля. Характер орнамента, драгоценную эмалевидную поверхность неяркой темперы, с преобладанием голубого, красного и зеленого, положенных по золоту, принято сближать с византийскими же перегородчатыми эмалями. Основной рапорт (мотив) орнамента — трилистник и византийская ветка — встречается не только в рукописях, но и в произведениях прикладного искусства X—XII веков. Конфигурация заставок, типичный орнаментальный мотив, характер колорита — все это признаки стиля, сильнее всех сказавшиеся в орнаменте рукописной книги и прикладного искусства Византии, балканских стран и Руси. Хронологические границы стиля, условно именуемого «византийским» — IX—XII столетия (время расцвета), в XIII веке в рукописях южнославянских и русских первенствующее место начинает завоевывать тератология (см. В. Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967). Текст написан в два столбца. Широкие поля, широкий срединник между столбцами (рассчитанный на помещение инициала) заставляют воспринимать как единое графическое целое строки текста, выполненного уставом, с его подчеркнуто геометризованным (прямоугольным) характером построения.

Внутри повествования каждого евангелиста чтения дня отделяются крупными инициалами. В свою очередь указание на источник чтения данного дня выделено более



*Остромирово евангелие. 1057 г.
Фронтиспис с изображением апостола Луки*

мелким шрифтом и малым инициалом. Своя субординация «чтений» отмечена орнаментальными элементами и в той части, где приведены чтения по дням избранных святых. Здесь особая роль отводится малым заставкам.

На втором месте по своей функциональной роли в общей системе орнаментального убранства (после большой заставки) должен рассматриваться большой инициал. Это прежде всего «опознавательный знак» для чтеца, не только облегчающий ему нахождение текста, но и способствующий регулированию звука при исполнении чтения «литургическим речитативом». Безошибочно определяя по крупным инициалам не только начало, но и конец текста, чтец имеет возможность соответственно повышать или понижать тональность чтения, усиливать или ослаблять звук.

Таким образом, драгоценная по своему внешнему виду книга всеми элементами своего оформления отражает

структуру текста, причем каждый из элементов несет свою функциональную нагрузку. Помимо этого фронтисписы должны были в каждом случае давать не только характеристику автора текста (Иоанна, Марка, Луки с их символами, значение которых было хорошо известно средневековому читателю), но и некую оценку содержания, выраженную метафорически.

Книга открывается чтениями пасхальной недели — текстом евангелия Иоанна. Вверху квадрифолия, в котором заключено изображение Иоанна, миниатюрист ввел рисунок шагающего льва (символ бессмертия), позднее его последовательно будут вводить в орнаментальное убранство памятников архитектуры владимиро-суздальские резчики по камню.

Возможно, что подобные метафорические изображения должны были сопровождать и остальные миниатюры. Но заказчик книги — новгородский посадник Остромир — скончался раньше, чем книга была завершена. Очевидно, с ее завершением очень спешили. Чистые листы пергамена, оставленные для миниатюр, оказались незаполненными, два фронтисписа — Марк, Лука — сделаны на отдельных листах и вшиты в рукопись, четвертого изображения, по видимому, не было вовсе. Само их исполнение носит более ремесленный и упрощенный характер, нежели изображение Иоанна, свидетельствующее о высоком мастерстве художника. Однако Остромирово евангелие не только памятник, свидетельствующий о мастерстве книгоделания, но и сохранивший до нашего времени данные о разнообразии культурных связей древней Руси. Об этом говорит одна деталь в построении портретов авторов текста — евангелистов. Два из них — Лука и Марк — изображены вместе со своими «вдохновителями», символически связывающими их изображения с целым пластом христианских представлений. Эти «вдохновители» — телец и лев — в X и XI веках не изображались в Византийском искусстве. Изображение божества в «зверином» облике было запрещено противоиконоборческими Вселенскими соборами. В то же время, в предроманском и романском искусстве Запада, не знавшем иконоборческих споров, символы евангелистов получили особое развитие. Таким образом, с оформлением евангелия оказались совмещенными традиции византийской и западноевропейской книжности, что отнюдь не умалило его самостоятельной художественной ценности.

Две другие книги, несмотря на всю разнохарактерность

их облика, свидетельствуют все о том же прекрасном понимании задач книжного оформления и профессиональном мастерстве исполнителей.

Изборнику Святослава в 1973 году исполнилось 900 лет. Прежде всего — это памятник древнейших межславянских культурных связей. Рукопись является копией аналогичного сборника, написанного по заказу болгарского царя Симеона. Болгарский подлинник не сохранился, а потому наша рукопись одинаково ценна для истории как русской, так и болгарской книжной культуры.

Текст книги составлен в основном из патристических («святоотеческих») сочинений; это, как свидетельствует составитель, — своего рода справочник «на скор ответ» по вопросам этико-философским, догматическим и даже «естественно-научным». Книга имеет исключительно парадный характер. Ее оформление также подчиняется основной задаче — выявить структуру текста, облегчить пользование им читателю, и, кроме того, прославить владельца-заказчика. Книга открывается изображением Спаса, похвалой заказчику и групповым портретом семьи киевского князя Святослава (Н. П. Кондаков. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., 1906). Такая необычная структура фронтисписа, повторение дважды похвалы Симеону, особый смысл «моления» и своеобразие приписки писца заставили исследователей полагать, что рукопись первоначально копировалась для киевского князя Изяслава и позднее стала собственностью его брата Святослава, захватившего Киевский престол.

Сочетание изображения заказчика и автора достаточно распространено в византийской рукописной книге. Данные на развороте или следующие одно за другим изображения носят традиционный посвятельный характер. Но сочетание изображения Спаса с похвалой князю, а также надпись над портретом семьи Святослава несколько осложняют содержание фронтисписов. Если изображение Спаса и похвала предшествовали портрету царя Симеона согласно византийской книжной традиции, то здесь они неожиданно получают полемическое содержание, как бы



*Остромирово
евангелие. 1057 г.
Большой инициал*

подтверждая богоустановленность власти Святослава в Киевской Руси (напомним, что в глазах многих современников Святослав почитался узурпатором великокняжеской власти).

Последующие два фронтисписа, которые делят книгу на две части, представляют собой изображение трех- и одноглавых храмов, под сводами (в портале?) которых помещены групповые портреты авторов текста. Фронтисписы имеют изображения на лицевой и оборотной сторонах. Так как авторы достаточно известны, чтобы быть узнаваемыми сразу же, то подписи нет. Зато широко использована символика, типичная для убранства византийских рукописей. Птицы — символы вечности, бессмертия, рая — в сопоставлении с именами авторов текста как бы предвосхищают раскрытие содержания, или обозначают главные темы текстов.

В Изборнике 1073 года со всей последовательностью проведена субординация элементов оформления.

Фронтисписы с изображениями авторов открывают части сборника. Большие заставки венчают начало каждой из частей. Их орнаментация по стилю и колориту «увязана» с фронтисписом «византийского» классического стиля. Внутри большой заставки вписано название части. Начало текста каждой из частей выделено большим орнаментированным инициалом. Чтение от чтения отделено золотой строкой с обозначением порядкового номера отрывка и его литературного источника. Буквы, обозначающие этот порядковый номер, вынесены в поле, за полосу, для удобства отыскания их в перечне, который помещен между двумя частями. Отрывок от отрывка отделяется малым инициалом. Три варианта инициалов использованы таким образом: большой — начало части, малый — начало отрывка и наименьший — указание на источник и порядковый номер чтения.

В еще большей мере, нежели в Остромировом евангелии, играет здесь роль орнаментальное обрамление.

Первый лист каждой из частей увенчан заставкой, обрамляющей обе колонки текста сверху. Мастер дал орнаментальную строку внизу, а в нее ввел изображения животных, чья символика не до конца еще разгадана.

Все элементы оформления строго продуманы и целесообразны: они должны облегчить пользование текстами, дать сведения об авторах и до известной степени «ввести» читателя в дух повествования.

Последовательность, с какой приемы оформления и иллюстрирования рукописной книги подчинялись задачам чисто функциональным, подтверждается на примере третьей из ранних рукописей — Изборнике 1076 года (которому в текущем году исполняется 900 лет).

Строго продуманная структура оформления Изборника 1076 года недаром привлекает внимание. Это совсем скромная рукопись. Орнаментальная заставка (с элементами плетения) помещена в начале всей рукописи. Текст от каждого последующего отделен инициалом. Строка, содержащая ссылку на источник текста, написана буквами, чуть ли не наполовину меньшими, нежели основной текст. Роль орнаментов сведена до минимума. Зато субординация шрифтов проведена строго логично и последовательно, всякий раз облегчая пользование книгой и выявляя структуру текста.

Таким образом, три древнейшие из сохранившихся до наших дней рукописи свидетельствуют о том, что искусство книгоделания на Руси XI века обладало высоким профессиональным уровнем; что памятники украшенной орнаментом и иллюстрированной книги по стилю органически неотделимы от византийских и южнославянских памятников эпохи (а порой являются непосредственными копиями несохранившихся славянских рукописей); что принципы иллюстрирования и орнаментального убранства книги носили строго функциональный характер, имея своей задачей облегчить пользование текстом, обнаружить, подчеркнуть, утвердить его структуру (композицию книги), одновременно раскрывая прямое ее содержание и «метафорический» подтекст.

Наконец, анализ элементов оформления позволяет утверждать, что фронтисписы, заставки, инициалы в русской книге XI века несут ту же смысловую и функциональную нагрузку, какую эти же элементы призваны выражать и в печатной иллюстрированной книге нового времени.

О. И. ПОДОБЕДОВА

Тёмпера — 1) Краски, приготовленные на натуральных эмульсиях (желтке, меде и т. д.) или на клею, особенно широко употреблявшиеся в живописи до изобретения масляных красок. 2) Живопись

произведение живописи, выполненные такими красками и в технике таких красок.

Фронтиспис — рисунок, помещаемый перед первой страницей книги или сверху страницы, на которой начинается

глава (Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова. М., 1936).

Ἀπρακός — по содержанию различаются евангелия тетр или четвероевангелия (их текст распадается на четыре части, в порядке изложения его четырьмя евангелистами) и евангелия ἀπρακός (от греческого

слова ἀπρακός 'недельный', в которых те же чтения расположены по дням недели, когда тот или другой отрывок должен произноситься при богослужении начиная с пасхи) (см. статью Н. П. Панкратовой «Древнейшие памятники письменности». — «Русская речь», 1976, № 1).

ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

Ответ. См. 1976, № 3, с. 35

I. При сопоставлении черновых вариантов с окончательной редакцией отрывков из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» видно, что вся авторская правка шла в направлении сокращения описаний-характеристик действующих лиц романа.

В диалогах Базарова с Одинцовой «дельная краткость речи» так же, как и «его ум, сухой и односторонний, но свободный и бойкий», выявились вполне.

В первоначальном варианте повествователь *описательно* раскрывал душевный мир и характер своего героя, в окончательном же тексте все эти «авторские комментарии» предельно сокращены. Сохранена *семантическая основа*, смысловое ядро образа. Первоначальный текст: «Базаров ей понравился — отсутствием всякого кокетства, самой резкостью суждений, дельной краткостью речи. Его ум, сухой и односторонний, но свободный и бойкий, ее не отталкивал» — был дважды сокращен.

В окончательном варианте дано единообразное написание окончаний творительного падежа -ою: «Базаров ей понравился — отсутствием кокетства и самую резкостью суждений».

II. Во втором примере цель авторской правки текста по существу та же, что и в первом примере — сокращение ремарок. В приведенной авторской ремарке сохранено и усилено лексико-грамматическое значение *начинательности*. Первоначальный текст «Заговорил скороговоркой старичок» в окончательной редакции предельно краток: «Начал старичок».

III. В последнем примере правка внесла существенные изменения в сам характер персонажа. Вместо первоначального «Одинцова бросила украдкой косвенный взгляд» стало: «Одинцова нахмурилась». По всей вероятности, в ходе работы над романом «Отцы и дети» образ Одинцовой изменился. В окончательном тексте свое отношение к окружающим она выражает достаточно прямо и откровенно. Правда, мы можем высказать только предположения, аргументированный ответ потребовал бы анализа редакций и черновиков всего романа.



СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ РУССКОЙ И ЧЕШСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Одной из самых важных задач фразеологии является ее сопоставительный анализ. Выявление сходств и различий фразеологических систем разных языков имеет не только большое теоретическое значение, но и чрезвычайно необходимо при переводе с одного языка на другой, при создании словарей.

Сопоставление фразеологии — весьма сложное дело потому, что эта часть словарного состава наиболее специфична, наиболее национальна и колоритна. Нередко оказывается, что устойчивые обороты одного языка не имеют эквивалента в другом или отличаются друг от друга по экспрессивности, оттенкам значений, употребительности, стилистической окрашенности и т. д. Но такое несоответствие нельзя толковать как свидетельство бедности фразеологии одного языка по сравнению с другим. Поэтому, чтобы сопоставление фразеологии разных языков было полноценным и объективным, необходимо сравнивать не отдельные обороты и даже не серии их, а целые фразеологические системы.

Такая возможность открывается при сопоставлении переводных фразеологических словарей, требующих охвата устойчивых сочетаний двух языков в полном объеме. Один из таких словарей — «Русско-чешский фразеологический словарь» — составлен нами и вскоре появится в печати. При его составлении мы опирались на достижения советской фразеологии (работы А. М. Бабкина, В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, С. И. Ожегова, Н. М. Шан-

ского и других ученых) и опыт чехословацких и советских лексикографов. Работа над этим словарем велась более 20 лет.

И в русском, и в чешском языках есть фразеологизмы, которые легко найти во многих европейских языках. Среди них немало фразеологизмов-сравнений, оборотов, связанных с греческой и римской мифологией, библеизмов, крылатых слов литературного происхождения и т. п.: *живут как кошка с собакой* — *žijí spolu jako pes a kočka*; *работает как лошадь* — *pracuje jako kůň* и под.; *Ахиллесова пята* — *Achilova pata*; *авгиевы конюшни* — *Augiášův chlěv*; *строить на песке* — *stavět (budovat) na písku*; *глас вопиющего в пустыне* — *hlas volajícího na poušti*; *беречь как зеницу ока* — *chránit jako oko v hlavě*; *быть или не быть?* — *být či nebýt?* и т. д.

В некоторых случаях это сходство может быть типологическим — по крайней мере конкретный источник или язык, из которого могло быть заимствовано выражение, установить почти невозможно: *красный петух* — *červený kohout*; *пустить красного петуха* — *hodit červeného kohouta*; *соломенная вдова* — *slaměná vdova*; *встать с левой ноги* — *vstát levou nohou napřed*.

Даже обороты этого типа, казалось бы имеющие все предпосылки для абсолютной тождественности в обоих языках, имеют тем не менее определенные отличия. Такие отличия, не нарушая в принципе семантической и структурной общности фразеологизмов, весьма разнообразны. Так, различной может быть употребительность таких оборотов в живой речи (русское *между Сциллой и Харибдой* встречается в живом употреблении чаще, чем устаревшее чешское *mezi Scyllou a Charybdou*), способность их к варьированию (наряду с *ахиллесовой пятой* можно встретить вариант *ахиллесова пятка* у Л. Н. Толстого, что для чешского *Acholova pata* принципиально невозможно), их грамматическое оформление (*нить Ариадны* — но *Ariadnina nit*) и т. д.

Помимо фразеологизмов интернационального характера, в чешском и русском языке имеется сравнительно небольшая группа оборотов, общих славянским языкам: *бабье лето* — *babí léto*, *бить в глаза* — *bít do očí*; *среди бела дня* — *za bílého dne*.

Можно отметить несколько общих для русского и чешского языка фразеологизмов, калькированных чешским из русских образцов: *герой нашего времени* — *hrdina naší doby*, *зеленая улица* — *zelená*; *медвежья услуга* — *medvedi služba*; *отцы и дети* — *otcové a děti*; *как прошлогодний снег* — *jako loňský sníh*; *социалистическое соревнование* — *socialistické soutěžení*; *кто кого* — *kdo s koho*; *кто не работает, тот не ест* — *kdo nepracuje, at nejí*.

Характерно, что и в последней группе встречаются в основном различия в активности употребления чешских и русских фразеологизмов.

Наблюдается, хотя и значительно реже, и калькирование «в обратном направлении» — с чешского языка на русский. Широко известны крылатые слова Юлиуса Фучика: «*Люди, будьте бдительны!*» — «*Lidé, bděte!*». Итак, между русской и чешской фразеологией выявляются сходные черты, обусловленные как общностью происхождения, так и культурно-историческими причинами.

К подобным фразеологическим явлениям можно отнести также обороты, имеющие тождественный образ, но различающиеся по значению. Так, *тьма тьмущая* в русском языке означает «бесчисленное множество, большое количество», а чешское *tma tmoucí* имеет значение, более близкое к исходному — «очень темно; крошечная тьма»; русский оборот *смотреть сквозь пальцы на что-либо* значит «не хотеть замечать чего-либо», а чешский *dívat se skrz prsty na koho*, абсолютно одинаковый по составу, — «смотреть на кого-либо свысока, относиться к кому-либо с пренебрежением». Таких случаев немного, но и преподаватель, и студент-русист могут их употребить неверно, видя их образное тождество. Ложную услугу они могут оказать и недостаточно внимательному лексикографу.

Кроме случаев фразеологических схождений, определяемых либо общностью формы и значения, либо общностью формы при смысловых различиях, есть еще один тип оборотов, показывающий близость русской и чешской фразеологических систем. Это «полуобщие» или частично общие параллели. Так, сопоставляя фразеологизм *смотреть (уставиться, таращить глаза) как баран на новые ворота* с чешским *dívat se (hledět, čumět) jako tele na, nová vrata*, мы заметим совпадение в значении, но некоторые отличия в компонентном составе: при полной аналогии слов *новые ворота* и *nová vrata* и при синонимическом соответствии глаголов *смотреть, уставиться* — *dívat se, hledět* эти обороты различаются компонентом, обозначающим животного. Русскому *барану* соответствует чешский *теленка*. Сравните: *положа руку на сердце* — чеш. *ruku na srdce* (буквально «руку на сердце»); *выплеснуть с (грязной) водой и ребенка* — *vylit vanu isdltětem* (буквально «вылить ванну вместе с ребенком»); *семь раз отмерь, один (раз) отрежь* — *dvakrát měř, jednou řež* (буквально «дважды измерь, один раз режь») и т. д.

Итак, общие фразеологизмы русского и чешского языка можно распределить на несколько групп — тождественные по составу и значению, но неоднородные по активности употребления в том или другом языке; общие по составу и образу, но отличные по семантике, и, наконец, «полуобщие».

Мы постоянно подчеркивали опасность прямолинейного, излишне упрощенного понимания этой общности, поскольку принципиально общее допускает частные расхождения. Ведь речь идет

о двух, хотя и родственных, но разных языках, из которых, естественно, русский оказывает большее влияние на чешскую фразеологическую систему, обогащая ее.

Даже беглое сопоставление фразеологических систем не может обойтись без рассмотрения таких оборотов, которые не находят себе аналогии по внутренней форме и структуре в чешском языке, являются (поскольку здесь мы отвлекаемся от фактов других славянских языков, прежде всего восточнославянских) «только русскими». Такие обороты важно уметь точно перевести, причем не обязательно с помощью фразеологического эквивалента. Это фразеологизмы типа: *собаку съест на чем-либо, кот заплакал, бить баклуши, шито белыми нитками, и был таков, сами с усами, сыграть в ящик, мне до лампочки* и подобные. При их передаче на чешский язык или лексикографическом описании в русско-чешском словаре приходится комбинировать и способ стилистически нейтрального толкования, и подбор лексических синонимов, и нахождение по возможности точного фразеологического аналога. Особое внимание к фразеологии такого типа оправдано уже тем, что в русско-чешском словаре они очень многочисленны.

В свою очередь, в чешском языке насчитывается немало фразеологизмов «только чешских» по сравнению с русским языком, но не по сравнению с некоторыми европейскими языками, особенно с немецким. Это, однако,— особая тема. Здесь же необходимо в общих чертах показать, что в русском языке существуют целые группы оборотов, каких в чешском языке не только нет, но и не может быть, поскольку отсутствует соответствующая модель. Так, тип фразеологизмов *хоть пруд пруди*, образованных по модели «союз *хоть* + повелительная форма глагола, иногда осложненная существительным», имеет значение большого количества, большой меры или степени чего-либо, могут передаваться на чешский язык лишь оборотами иной конструкции. Например: *хоть пруд пруди* — *máme toho víc, než dost* («у нас этого более, чем достаточно»), *хоть святых выноси* — *že by se člověk zbláznil; až hrůza* («что можно с ума сойти», «просто ужас»), *хоть шаром покати* — *nikde nic* («нигде ничего»), *хоть кол на голове теши* — *kdyby ho člověk rozkřájel* («если бы его разрезать») и другие.

При сопоставлении таких фразеологических рядов необходимо учитывать не только собственно фразеологизмы, но и свободные сочетания русского языка с аналогичной структурой. Ведь именно эта синтаксическая конструкция и создает различие приводимых оборотов, поскольку чешский язык «не признает» ее.

Подобные трудности можно продемонстрировать и на примере передачи чешскими средствами русской фразеологической модели «до бесконечности». Дело осложняется тем, что в чешском языке

есть подобная синтаксическая конструкция (сравни: *до бесконечности* — *do nekonečna*), но употребляется она значительно реже, заменяясь конструкцией *až k* (буквально *аж к*) с дательным падежом существительного или глаголом. Например: *был тронут до слез* — *byl dojat až k slzám* («был тронут аж к слезам»), *до боли* — *tak, až to boli* («так, аж больно»). Переводчик не смог бы, например, дословно передать знаменитое есенинское *до радости и боли*:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

«Запели тесные дроги...»

Не смог бы, несмотря на то, что в принципе подобные конструкции встречаются и в чешском языке. Но здесь они намного менее употребительны, чем в русском — и именно в этом таится опасность. Предугадать, в каком конкретном случае такую конструкцию можно употребить, очень сложно — для этого необходимо тонкое знание чешского языка.

Чем больше во фразеологии собственно национального, тем шире расхождения. Естественно, что такие разряды фразеологии, как, например, обороты с топонимами в основе, теснее привязаны к национальным реалиям, чем «общечеловеческие» или «общекультурные» ее группы. Отсюда и большое количество различий: *не сразу Москва строилась, ездить в Тулу со своим самоваром, Москва слезам не верит* и другие можно передать на чешский язык либо описательным толкованием, либо фразеологическим аналогом. Сходства здесь могут появиться лишь в результате калькирования, например: *все дороги ведут в Рим* — *všechny cesty vedou do Říma* или случайным совпадением: *показать кому Москву* — *ukázat komu Prahu* (дословно «показать кому Прагу»).

Примеры показывают, что при лексикографическом описании фразеологии двух языков одного сопоставления недостаточно, необходимо и толкование, пусть иногда описательное, чтобы получить полное представление о значении фразеологизма.

Мы хотели показать на конкретных примерах не только явные сходства и различия во фразеологическом фонде двух наших родственных языков, но и случаи промежуточные. Они важны потому, что являются серьезным предупреждением против схематизма и прямолинейности в понимании фразеологической общности, внутри которой кроются или могут крыться существенные различия.

А. Ф. ВУРМ
Прага



СЛОВА, ПЕРЕЖИВШИЕ СЕБЯ

Якутия вошла в состав Московского государства в первой половине XVII века. С тех пор и начались традиционные контакты якутов с представителями трудового русского народа. Контакты были настолько тесными и интенсивными, что, несмотря на малочисленность русских в Якутии, еще до Октябрьской революции в якутский язык проникло свыше трех тысяч русских слов (не считая собственных имен). Эти слова — живые свидетели глубокого прогрессивного влияния русского народа на все стороны жизни якутов. Изучая их, можно шаг за шагом восстановить не только конкретные виды занятий, методы ведения хозяйства, орудия труда, предметы и понятия, перенятые якутами у русских на протяжении почти трехсот дореволюционных лет, но и характер их взаимоотношений в различные периоды проживания в условиях суровой северной природы.

Многие из русских слов, попавших в якутский язык в раннюю пору, в современном русском языке вышли из употребления, а в новой языковой среде «пережили самих себя».

Русские слова, проникшие в якутский язык устным путем при повседневном общении с русским населением, сильно изменили свой внешний облик. Непосвященным в фонетические тонкости подобное явление часто представляется «искажением», «порчей» иноязычного слова. А в действительности это происходит потому, что русские слова воспринимаются якутами через призму своего родного языка. Так, например, слово *праздник* в якутском языке повсеместно звучит как *бырааһынньык*. Такой фонетический облик слова легко объясняется закономерностями звуковой системы якутского языка, где слово не может начинаться с сочетаний

двух согласных, поэтому между *п* и *р* появляется вставочный узкий гласный. Но слово с начальным *п* не привычно для якутов, обычным является его звонкая пара — *б*. В середине слова не могут стоять три согласных рядом, к тому же на слух не воспринимается звук *д* и закономерно опускается в русском произношении. Звук *з* нет в якутском языке, и он заменяется сравнительно близким переднеязычным *с*. Однако в якутском языке не могут сочетаться *сн*, и между ними вставляется разделительный гласный. Русский мягкий *н* (перед *и*) уподобляется еще более мягкому якутскому согласному *нь*, который в середине слова удлинняется (орфографически передается как *ньн*). Якутский согласный *с* между двумя гласными закономерно переходит в свою звонкую пару — *н*.

Таковыми же закономерными являются замещения гласных звуков. Ударные русские гласные воспринимаются на слух как долгие или дифтонги. Это объясняется тем, что по экспериментальным данным, «русские ударные гласные по своей длительности превышают максимальную длительность якутских кратких гласных» (Н. Д. Дьячковский. О фонетическом освоении заимствованных слов в якутском языке. Якутск, 1962). Таким образом, якутский слух улавливает обычно не замечаемое самими русскими удлинение ударного гласного, и это передается соответствующим долгим гласным звуком. Исключения из этого правила очень редки, и все они имеют свое объяснение. Появление якутского *ы* вместо русского *и* в слове *праздник* объясняется тем, что по закону гласных якутского языка за *а* не может следовать *и* (обычно ударный гласный определяет огласовку всего слова), а только *ы* или *а*. По закону же гармонии допустимы вставочные *ы*, а не *и*. Таким образом, русские слова получают свой фонетический облик не произвольно, а подчиняются закономерностям звуковой системы якутского языка. Подобное явление всегда учитывается в работах по языковым контактам, и исследователи часто находят в заимствованных другим языком словах следы звуков, исчезнувших в языке-источнике.

Рассмотрим относящиеся к нашей теме языковые факты.

В якутском языке имеется слово *бааһынай*, которое восходит к ныне устаревшему русскому *пашенный*. Слово обычно употреблялось как прилагательное в сочетаниях типа *пашенная земля*, *пашенные крестьяне*. «Мочно ли на Лене реке в которых местех пашня завести и пашенных крестьян устроить», — читаем в одном из ранних документов XVII века (Якутия в XVII в., Якутск, 1953). В документах XVII века слово часто употребляется и как существительное в значении «крестьянин-земледелец»: «Да приходили ко мне промышленные люди из зимовей, били челом о суде по кабалам на пашенных и на свою братью...» или «и на заимках пашен-

ных Офоньки и Оверки нет» (Колоннальная политика Московского государства в Якутии в XVII в. Сборник документов, Л., 1936).

Слово *пашенный* в якутском языке входит в состав активной лексики, имеет много производных и несколько значений. Оно сохраняет именное значение своего прототипа в несколько суженном виде 'русский крестьянин-земледелец Якутии'. *Бааһынай* — это прежде всего пионер распространения земледельческой культуры в суровых условиях Якутии. Коренные народы Якутии были скотоводами, оленеводами и охотниками и до прихода русских не знали земледелия.

Русские крестьяне, жившие в гуще якутского населения, наряду с русским языком свободно владели якутским, который, по выражению этнографа П. Е. Островских, был «международным на всем Северо-Востоке Сибири». Об этом с большим удивлением писали многие дореволюционные путешественники и исследователи. Известный русский писатель И. А. Гончаров, проезжавший в 1854 году через Якутию, метко назвал Амгинских и Ленских крестьян «русскими якутами», то есть русскими — по рождению, якутами — по языку. В путевых записках писателя содержится много любопытных фактов, характеризующих языковые отношения в Якутии того времени. Вот один такой эпизод. Приехав в Амгинскую слободу, «Егор Петрович [русский ямщик, возивший писателя] сам, — пишет И. А. Гончаров, — встретив в слободе какого-то человека, вдруг заговорил с ним по-якутски. „Это якут?“ — спросил я. — „Нет, русский, родной мой брат“. — „Он знает по-русски?“ — „Как же, знает“. — „Так что же вы не по-русски говорите?“ — „Обычай такой...“» (И. А. Гончаров. Фрегат «Паллада». М., 1959). В другом месте автор замечает: «По Лене живут все русские поселенцы и, кроме того, много якутов, оттого все русские и здесь говорят по-якутски, даже между собою» (там же). Это обстоятельство и отразилось во втором значении слова *бааһынай*: 'двуязычный или перешедший на якутский язык русский крестьянин', отсюда: 'двуязычный русский старожил' (так называемый «русский насельник»).

Браки с представителями двух народов издавна были самым обычным явлением, поэтому в третьем значении слова *бааһынай* был зафиксирован и этот факт: 'метис, потомок от смешанных браков русских и якутов, но с ясно выраженным русским типом лица'.

После Октябрьской революции появилось новое, научно-терминологическое значение 'крестьянин, представитель класса крестьянства'. Отсюда возник сложный термин с собирательным значением *бааһынай аймах* 'крестьянство'.

Шашки — распространенная в республике игра. Якутское название ее — *дуобат* — восходит к забытому в русском языке древнему слову *доведь* («*доведь* — дамка, шашка, прошедшая до последнего ряда клеток противника; она ходит во всю доску. Пройти в доведи, получить начальниче место, звание, высшую должность» — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1). В якутском языке сохраняется и старое русское значение, указанное В. И. Далем. Слово имеет производные: *дуобаттаа* 'играть в шашки', *дуобатчыт* 'игрок в шашки, шашист', *дуобаттаах* 'имеющий шашки, шашечный' и т. д. Слово было заимствовано очень давно, об этом говорит и сочетание *дуобаттаах суорбан* 'одеяло, сшитое из разноцветных квадратных лоскутков наподобие шашечной доски', которое встречается в якутском героическом эпосе — олонхо: *Дуобаттаах суорбанын сабан кэбиспит, уһуордаах сыттыгын сыттамыгынан сытар эбит*: «Шашечным одеялом накрылась, положив под голову узорную подушку, лежит, оказывается» (Образцы народной литературы якутов, т. I. СПб., 1907). В якутском языковом сознании это слово и сама игра настолько прочно укоренились, что шашки повсеместно считались исконной национальной игрой.

Русская *баня*, ставшая неотъемлемой принадлежностью якутского быта, по-якутски называется *баанньык*. Слово, по-видимому, восходит к забытому диалектному *бáйник* в том же значении, или к *ба́нник*, *ба́йник* 'банный веник' (Словарь В. И. Даля, т. 1), или к диалектному (воронеж.) *ба́нник* 'вход в баню, малые сени перед входом в баню' (Словарь русских народных говоров. II. М.—Л., 1966).

Административно-территориальная единица, соответствующая сельсовету, в Якутии именуется *нэһилиэк* (правда, в последние годы в официально-деловом языке наряду с *нэһилиэк* употребляется *сельсовет*). *Нэһилиэк*, бесспорно, одно из ранних заимствований в якутском языке, восходящих к русскому *наслед*. В. И. Даль толкует слова *наслед*, *наследный* как 'ночлег, ночлежный' с пометой *северо-восточное*. По мнению Д. Н. Шмелева, слово *наслед* (*наслѣгъ*) представляет собой образование от архаичного глагола *слѣвати*. А вариант *ночлег*, по его же предположению, является результатом изменения фонетического облика слова *наслед* под влиянием семантически близкого *ночевать* (Д. Н. Шмелев. Несколько случаев лексико-семантической контаминации. Этимологические исследования по русскому языку. III. М., 1961).

В документах XVII века слово *наслед* употребляется неоднократно в основном в сочетаниях «наслед князца такого-то»: «Чачуйской волости наслегу князца Василия Санникова, Намской

волости наслегу князца Мочоя Кусегеева». А сами князцы часто пишут: „в наслеге моем“ (С. А. Токарев. Общественный строй якутов XVII—XVIII вв. Якутск, 1945).

Можно думать, что и в подобных сочетаниях наметился сдвиг в значении слова *наслег*: это уже не только ночлег, а скорее постоянное местожительство того или иного якутского князца. По мере усиления власти и влияния князцов, подобные сочетания стали осмысливаться как ‘территория распространения влияния того или иного князца’, что привело к официальному закреплению за словом *наслег* (в первой половине XIX века) значения ‘административно-территориальная единица во главе с князцом’. Таким образом, эволюция значения слова *наслег* в якутском языке представляется так: наслег князца ‘ночлег’; наслег (князца) ‘местожительство’; наслег (князца) ‘территория распространения власти, влияния (князца)’; наслег — ‘административно-территориальная единица во главе с князцом’ наслег — ‘административно-территориальная единица во главе с наследным советом’.

По-видимому, наиболее близкой к истине является этимология профессора Ф. Г. Сафронова, возводившего якутское *харчы* ‘деньги’ к русскому *харчи* ‘продовольствие, пища’ (Ф. Г. Сафронов. Как возникли якутские термины денежных единиц. — «Хотогу сулус», 1972, № 7). В русском языке слово считается арабским заимствованием, вошедшим, возможно, еще в домонгольский период через тюрков и персов (Е. С. Отин. К истории и этимологии слова харч(и). — Этимологические исследования по русскому языку. VI. М., 1968). В якутском языке арабских слов нет, так как предки якутов не имели, как многие другие тюркские народы, непосредственных (и едва ли даже косвенных) контактов с арабским миром. Фонетический облик слова также говорит в пользу его заимствования из русского языка. Что касается изменения значения слова, то оно также легко объяснимо. Как видно из документов XVII века, русские служилые люди, прибывшие в Якутию, имели так называемые *харчевые* (или *харчевные*) деньги, за которые они получали *харч*, продукты из воеводских запасов. Так в одном документе, написанном в г. Якутске в 1650 году читаем: «А те все пупки [соболиные.] — он, Филип, купил на свои харчевные деньги» (Ф. Г. Сафронов. Как возникли якутские термины денежных единиц). Якуты, не знавшие до прихода русских денег, переосмыслили значение слова *харчи* как ‘деньги’: «Деньги на пропитание, на харчи», отсюда: *харчи* > *харчы* > *деньги*.

Как известно, до 1769 года деньги на Руси были металлическими. Наиболее распространенными среди якутского населения, по-видимому, были копейки. Отсюда слово *харчы* в якутском языке развило второе значение ‘копейка’.

Современный *рубль* в якутском языке обозначается звучным русским архаизмом *целковый*, в якутском звучании *солкуобай*. Слово *целковый* 'рубль' появилось среди русского народа в конце XVIII века первоначально для обозначения серебряного рубля («целого, полного») в отличие от бумажного, обесцененного (в словарях обычно давалось с пометой *просторечное*). А в якутском языке оно является общенародным и литературным.

Якутским языком были заимствованы и другие денежные единицы монетарной системы: *диэнискэ* 'денежка' (слово нельзя путать с более древними деньгами: *денежки* появились в начале XVIII века и равнялись $1\frac{1}{2}$ копейки); *болууска* 'полушка', *кирибинник* 'гривенник', *чэрбиэнчэ* 'червонец' (от формы червонца), а также *кэппиэйкэ* 'копейка' и *манньыат* 'монета'. Но все эти слова в настоящее время употребляются в определенных стилях речи, в основном в языке устного народного творчества или в составе различных словосочетаний.

Активнейшее в якутском языке заимствованное слово *былаат* 'платок' восходит к ныне устаревшему просторечному *плат* в том же значении: «Ночью кашель бьет солдатика, Белый плат в крови мокрехонек!» (Н. А. Некрасов. Орина, мать солдатская).

Перчатки в якутском языке называются *биристээнки*. Слово восходит к вышедшему из употребления *перстянки* (в Словаре В. И. Даля — с пометой *арх. сиб.*).

А повсеместное *кумаабы* возводится не к общерусскому *бумага*, а к сибирскому архаизму *гумага* (Словарь В. И. Даля, т. 1).

Исключительно русское слово *прозвание* когда-то имело ныне полностью вышедшее из употребления значение 'фамилия, имя': «Капельмейстер этого оркестра, старик лет восьмидесяти, по прозвищу Матвей Гусликов, принял его под свое покровительство» (Д. В. Григорович. Капельмейстер Гусликов). Это слово в якутском языке звучит как *араспаанньа*, является активным, литературным и прочно удерживает именно устаревшее значение своего прототипа 'фамилия'.

Многие ранние заимствования в новой языковой среде, как мы уже видели, сильно изменили свое значение. Иногда требуется специальный анализ, чтобы установить связь между значением прототипа и заимствованного слова. Рассмотрим несколько примеров.

В якутском языке имеется слово активного обихода *мэндизмэн* 'этаж'. Оно восходит к русскому латинизму *фундамент*. В значении 'собственно фундамент' якутским языком было заимствовано севернорусское диалектное *акылаат* 'оклад', которое употребляется до настоящего времени. С конца XIX века в г. Якутске стали строить двухэтажные дома. Чтобы строить такие большие здания, нуж-

но было закладывать не просто *оклады* обычного типа, а особо прочные, капитальные основания — *фундаменты*. Такое двухэтажное здание с капитальным основанием, так, видимо, и называлось: *дом с фундаментом* — якутское *мэндиэмэннээх дьиэ*. Однако слово *мэндиэмэн* «фундамент» в этом сочетании постепенно стало ассоциироваться не с капитальным основанием дома, а с наиболее характерным и бросающимся в глаза внешним признаком — его этажом. Так первоначальная «внутренняя форма» стала забываться, и появилось новое значение «этаж».

Слово *мэһеек* в якутском языке имеет значение «сто рублей». Прототипом его является русское *мешок*. Якутское значение появилось в результате переноса наименования по смежности: в старину деньги обычно хранились в мешочках по сто единиц, как в современных банковских пачках. Например, один мешочек «мешок» составлял сто рублевых ассигнаций. Отсюда *мешок* — сто рублей. Таким образом, и это слово восходит к своеобразному архаизму.

Наречное слово *номнуо* восходит к русскому наречию *давно*, но имеет на первый взгляд прямо противоположное значение «уже, так скоро». Смещение значения слова произошло, видимо, от часто встречающегося сочетания типа *давно пришел (приехал?)*. Если, предположим, человек пришел давно, это и есть «уже», «так скоро», особенно если его «так скоро» не ждали.

Свидетельством тесных семейно-бытовых отношений представителей двух народов является заимствование якутским языком слова *брат* в значении «младший брат». Исконно якутское (тюркское) *уни* в настоящее время полностью архаизировалось, вытесненное заимствованным *быраат*.

Некоторые словосочетания, целые междометные предложения в якутских говорах восприняты как одно слово, полностью освоенное фонетически и, разумеется, со смещенными значениями. Так, от *бог с тобой* получилось *боччубуой* — междометие, выражающее жалость, умиление, от *черт с тобой* + *чоортубуой* — междометие удивления, легкой досады.

Язык творчески перерабатывает, сохраняет и развивает воспринятое некогда традиционное наследие, которое продолжает активно и полнокровно жить на своей новой родине.

П. А. СЛЕПЦОВ

Якутск

ЛИСТАЯ УЧЕБНИК

КРЕСТЬЯНИН

В древнерусских памятниках
XI—XIV веков все слова с

корнем *крѣст* (*крест*) имеют два написания — с начальным *к* и с начальным *х*: *крестъ* и *хрестъ*, *крестити* и *хрестити*, *креститель* и *хреститель*, *крестиянинъ* и *хрестиянинъ*, *крестияньство* и *хрестияньство* и другие. Таким образом, *крестиянинъ* и *хрестиянинъ* значат одно и то же — христианином называют того, кто верил в Иисуса Христа, признавал так называемый Новый завет. Приведем несколько примеров на слово *крестиянинъ*, то есть с начальным *к*, как наиболее интересных для нашего рассказа. «Вѣроваша въ святую троицу и быша *крестияне*» (Кирилл Туровский, XII век); «Поѣди, господине, въ орду, не погуби *крестианъ* отъ поганыхъ», — просят князя жители Пскова, то есть горожане, а не крестьяне (из Псковской I летописи под 1327 г.); «А язъ грѣшныи съ своею братицею... радъ бога молити о тобѣ о нашемъ господине, и о твоеи княгинѣ, о твоихъ дѣткахъ, и о всехъ *крестьянехъ*» (Послание белозерского игумена Кирилла великому князю Василию Дмитриевичу, 1400 г.).

В самых ранних записях «Повести временных лет», относящихся ко времени, когда Русь была языческой, не христианской, словом *крестиянинъ* (*хрестиянинъ*) называют византийца, грека и противопоставляют его русину, русскому: «Аще кто убьет или *хрестиянина* русин или *хрестьянинъ* русина, да умереть, идѣже аще сотворит убийство» (Договор Олега с греками, 911 г.). С принятием и утверждением христианства на Руси так стали называть всех русских, православных, в противоположность иноплеменикам-нехристианам.

Потом это наименование закрепилось за сельским, земледельческим населением Руси: «изби мразъ (т. е. мороз) рожь, и бысть убытокъ *крестианомъ* хлѣбомъ» (Псковская I летопись под 1435 г.), вытеснив другие наименования, такие как *селянинъ*, *сельчанинъ*, *деревеньщикъ*. Например: «На тѣхъ моихъ *крестьянѣхъ*, на сельчанѣхъ и на деревенщикахъ... некоторыхъ пошлинъ не емлютъ» (Уставная грамота 1544 г.). В современном значении слово *крестьянин* стало употребляться со второй половины XIV века.

КРЕПОСТНОЙ КРЕСТЬЯНИН

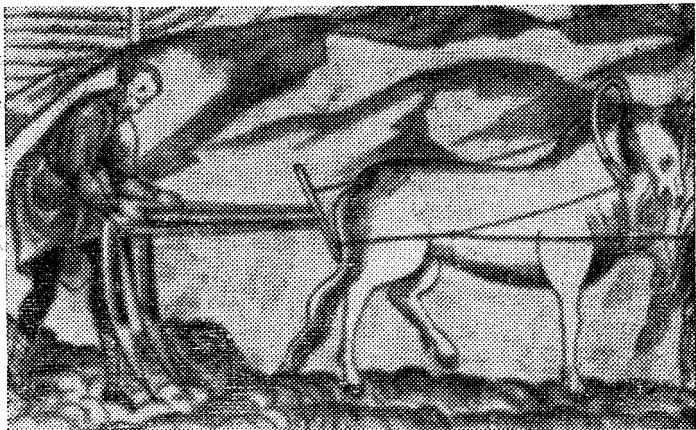
Несколько слов о первоначальном значении слова *крепостной*. В школьном учеб-

нике сказано так: «Постепенно царские законы объявили крестьян «крепкими земле», иначе говоря крепостными» (М. В. Нечкина, П. С. Лейбенгруб. История СССР. Учебник для 7 класса. Изд. 9-е М., 1974, с. 109). И еще: «Крепостной крестьянин не имел права уйти из помещичьего имения по своей воле, он был „крепок“ к земле феодала, отсюда слово „крепостной“» (там же, с. 122).

Слово *крепостной* образовано не от прилагательного *крѣпый* 'крепкий', а от существительного *крепость*. На это указывает морфологическая структура самого слова *крепост-н-ой*, это подтверждается и семантически.

Одно из значений слова *крепость*, не сохранившееся в современном языке, — скрепление, подтверждение, утверждение какого-либо договора или договоренности: «А сю грамоту язъ Данило далѣ... крѣпости дѣля» (Запись Данила Блинова митрополиту Феодосию, XV в.). Грамота, выданная «крѣпости дѣля», называлась *крѣпостью*, она была важнее, чем обычная грамота. В одном из документов, касающихся дипломатических отношений с Англией, говорится: «А грамоту еси прислала обычную как проѣжжую. А такие великие дѣла без *крѣпостей* не дѣлаютца и без послов» (Английские дела, 1570 г.).

Содержание *крѣпостей* было самым разнообразным, они касались земельных, денежных и разных других вопросов. Из огромного числа примеров приведем лишь некоторые: «И судьи спрашали Мартемьяна келаря: «почему вы те пожни и землю пазываете своими? что у вас *крѣпость*» (Архив Строева, 1, 1526 г.); «искалъ онъ, Микита, на немъ, Кузме, судомъ, по писменной *крѣпости* долгу своею восмисотъ рублей» (Отписка Псковского воеводы в Колывань, 1676 г.); «чтобъ на томъ съѣздѣ мимо-



Пахота деревянной трехзубой сохой с железными сошниками. Миниатюра из «Жития Сергия Радонежского». Конец XVI—начало XVII в.

шедшие (т. е. прошлые) ссоры и недружбы розыскать (т. е. расследовать) и успокоить и учинить на обѣ стороны *крѣпность*, чтобъ впредь того не было» (Акты о набегях казаков, 1677 г.). В «Повести об Ерше Ершовиче» (XVII в.) упоминаются «деревенские крепости»: «Было в Ростове озере дворишко худое, соломой крыто, во дворишке клитишко, в клитишке коробышко. в коробышке пути и грамоты, деревенские *крепости*». Впрочем, слово *крепость* в этом значении упоминается и современными словарями с пометой «устаревшее» или «дореволюционное».

Прилагательное *крѣпостный*, *крепостной* означало «относящийся к крепости, упомянутый в крепости»; «и одать [спорные деньги] Алексѣеву сыну Балаксина Климку безволокипно, потому что то дѣло *крѣпостное*» (Ревельские акты, Отписка Псковского воеводы в Колывань, 1654 г.). «Крепостные земли», «крепостная вотчина», «крепостной двор» — это земли, вотчина, двор, владение которыми «скреплено *крѣпостью*».

То же самое и в отношении людей: «... онъ Федоръ челоуѣкъ не бѣглоу и не *крѣпостной*, и не кабалной и ни гдѣ ни въ какихъ *крѣпостяхъ* ни у ково не написанъ» (Поручная грамота попа Перфенія, 1682 г.). И до крепостного права крестьяне работали на помещика, но когда их

зависимость была закреплена в документе, грамоте, законе — крѣпости, они стали называться крепостными.

Приведем отрывки из документов разных лет, показывающие полное бесправие крепостного человека. «Поступился (т. е. продал, «уступил») мнѣ Софону Иванъ Ильинъ сынъ Давыдовъ крѣпостного своего крестьянина Микиту Сидорова съ женою и съ дѣтми въ бѣгахъ, а какъ я Софонъ того крестьянина и съ женою и съ дѣтми, изъ бѣговъ сыскавъ, выведу за себя, и въ то число мнѣ Софону дать ему Ивану десять рублевъ денегъ, въ томъ я Софонъ ему Ивану сю и память далъ за своею рукою» (Акты юридического быта, III, 1686 г.). «Мастеровъ крѣпостныхъ вели взять, толко хозяевъ наградить, чтобъ обижены не были» (Архив Петра I). «Когда по всевысочайшему повелѣнію соизволено будетъ набирать рекрутъ, чтобъ имъ, купцамъ, для отдачи вмѣсто себя въ рекруты покупать дозволить у помѣщиковъ крѣпостныхъ ихъ людей и крестьянъ» (Наказы Уложенческой комиссии, 1767 г.).

Н. В. ЧУРМАЕВА



ЯЗЫКОВОЙ КОЛОРИТЪ ЭПОХИ В РОМАНЕ А. Н. ТОЛСТОГО «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

Язык историческаго романа А. Н. Толстого «Петр Первый» — языкъ подлинно народный. Равно какъ и въ другихъ произведенияхъ писателя, онъ емокъ, гибокъ и предельно выразителен. Все многообразие языковыхъ средствъ въ романе подчинено главной задаче — добиться соответствія слова жизни, объективно существующей действительности. Не является исключеніемъ въ воспроизведеніи колорита эпохи, передаче острой борьбы новаго со старымъ использование А. Н. Толстымъ архаизмовъ, иностранныхъ словъ, просторечій.

«Пусть старина,— писал А. А. Бестужев-Марлинский, подчеркивая границу возможной архаизации,— говорит ей языком приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь» (журнал «Московский телеграф», сентябрь 1883). Именно это живое изложение старины «языком ей приличным» и определило выбор слов, выражений, которые помогли писателю полно передать язык эпохи, изобразить правдиво свидетелей времени.

Продолжая традиции А. С. Пушкина, автора «Капитанской дочки», «Бориса Годунова», «Арапа Петра Великого», А. Толстой осторожно и сдержанно прибегает к исторической стилизации языка романа.

Собственно архаизмов, требующих объяснения, в произведении сравнительно немного. Главным образом, это наименования одежды, оружия, должностного положения лиц, посуды, напитков, украшений, слова церковного обихода: *ферязь, терлик, епанча, опашень, летник, убрус, бармы; саадак, бердыш, единорог; ясельничий, новик, бирюч, мытарь, ярыга, прибыльщик, повытчик, покрученик, страдник, гостинодворец, рында; штоф, ендова; романья; лал, финифть; епитимья, деисусы, часослов, месяцеслов, мясоед, требник, брашна* и другие.

Используются они А. Толстым прежде всего при описании быта допетровской России, противников реформ царя, в частности боярства, ревностно защищавшего патриархальную старину. Не случайно в первой книге романа архаизмов значительно больше, чем в двух последних.

Архаичность стиля — явление довольно редкое в романе и в большей своей части используется оно автором для характеристики людей, имеющих непосредственное отношение к книжному языку, чуждых живой разговорной речи. «... Не тчитесь тем,— говорит патриарх Иоким,— что, изведя крамолу, привели в мир люди и веси... Скорбит душа моя, не видя единомыслия и процветания в народах. Град престольный! — безместные чернецы и черницы, попы и дьяконы бесчинно, и неискусно, а также гуляющие разные люди,— имя им легион,— подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеса и зажмура, шатаются по улицам, притворным лукавством просят милостыни... Это ли вертоград процветший?» [цитируется по изданию: Алексей Толстой. Собрание сочинений, т. 7, М., 1959].

В меру использует Толстой архаизмы и при создании жанровых сцен, портретной живописи. Так, рисуя портрет Софьи на царском троне в Грановитой палате, А. Толстой пишет: «Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью, платье, — более пуда весом, — бармы в лалах, изумрудах и алмазах, ожерелья, золотая цепь — давили плечи... Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды, по уставу — блаженно-тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками, стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров».

Вкрапленные в описание архаизмы *бармы* (часть парадной одежды московских князей и царей в виде широкого оплечья с нашитыми на него изображениями и драгоценными камнями); *лал* (старорусское название драгоценного красного камня шпенели); *рында* (почетное звание оруженосца и телохранителя московских царей) и другие создают особый торжественный настрой, делают всю сцену зримой, осязаемой.

А вот другая картина — одевание Евдокии перед венчанием: «Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными, до полу, рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею убранные алмазами, бобровое, во все плечи, ожерелье, им так стянули горло. — Евдокия едва не обмерла. Поверх летника — широкий опашень клюквенного сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами, еще поверх — подволоку, сребротканую, на легком меху, маптю, тяжело шитую жемчугом».

Примеры эпохи здесь образно переданы при помощи таких архаизмов, как *телогрея* (старинная русская женская одежда на меху или на подкладке с длинными суживающимися рукавами), *сенные девки* (крепостные дворовые девушки), *летник* (летняя женская одежда с длинными широкими рукавами), *опашень* (долгополый летний кафтан с широкими короткими рукавами), *финифтяные* пуговицы, то есть сделанные из *финифти* — эмали для

покрытия металлических изделий и для накладки узора на фарфор.

Психологическую достоверность сцены писатель усиливает зримыми эпитетами, удачно подобранными к архаизмам: сеньные девки; летник с просторными, до полу, рукавами, чудно вышитыми травами и зверями.

Проникновение в русскую речь иностранных слов, связанных с реформами Петра в армии, в административном аппарате и т. д., в известной степени сказалось и на словарном составе русского языка того времени. И здесь, как и в использовании архаизмов, А. Толстой, вводя иностранные слова, не перегружает ими речь действующих лиц. В романе мы находим слова из голландского языка — *бушприт*, *шкот*, *фордевинд*, *шпангоут*, *ванты*, *эллинг*; немецкого — *швермер*, *кундштюк*, *клейдон*, *шанцы*, *цитрон*, *сект*, *фашина*, *парадиз*, *штатгальтер*; французского — *галант*, *дебошан*, *кордегардия*, *апрош*, *дормез*, *курбет*, *куафер*, *фуляр*, *плутонг* и других языков. Заметим, что введены они автором в речь единомышленников Петра, сторонников его преобразований.

Низкопоклонство перед Западом, выразившееся в неоправданном увлечении иностранными словами, явилось причиной смещения стилей. Это явление в речи действующих лиц художник образно передает в сцене приезда боярыни Саньки Волковой (в прошлом крепостной) к Буйносовым: «Презанте мово младшего брата Артамошку». Ей вторит Ольга Буйносова: «Третьего дня танцевала у Нарышкиных, три раза платья меняли. Такой сюксе, такая жара была...». Или: «Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился».

Сочетание французских слов *презанте* (представлять, знакомить кого-либо) и *сюксе* (успех, удача) с просторечным *мово* и натуралистическими подробностями (такая жара была — три раза платья меняли) сообщает всему разговору комический оттенок.

Вводя архаизмы и иностранные слова, А. Толстой ни на минуту не забывает о том, что язык Петровской эпохи и современный органически связаны между собой. Поэтому шлифовке подвергалась каждая фраза, в результате чего все повествование начинало переливаться различными красками.

Ясности мысли и прозрачности стиля автор добивается путем толкования незнакомого слова: «Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке»; «Алешка, держа

вожжи, шел сбску саней, где сидели трое холопов в бу-
мажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто
стеганных, несгибающихся войлочных кафтанах с высо-
кими воротниками — тигелеях»; «Там виднелись пешие и
конные жильцы — дети боярские, служившие при госуда-
ревой особе»; «На стенах, обитых золоченой кожей, висели
парсуны, или — по-новому — портреты»; «Меньшиков по-
скакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу цар-
скую парсуну, или портрет, усыпанный алмазами...»; «...за
последнее время вместо грешного и стыдного названия —
любовник — нашлось иноземное приличное слово га-
лант...»; «Диверсия под Азов решена была на военном
совете, или консилие...»; «На помянутых улицах — plezier,
или гуляние великое».

Предельная смысловая четкость и выразительность язы-
ка определяется и тем, что употребление известного сосре-
щенному читателю слова и словосочетания дается в харак-
терном для XVII—XVIII веков семантическом наполне-
нии. Глагол *верстать* употребляется в значении 'наделять
кого-либо (поместьем, чином и пр.)', 'назначать кому-ли-
бо, что-либо'; существительное *приказ* — в значении 'уч-
реждение' и т. д. Например: «Поместный приказ повер-
стал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами,
и при них крестьянин приписано тридцать семь душ с се-
мьями»; «...подавая Никите Зотову (ведающему Потеш-
ным приказом) счетчик, — степенно вздыхал, пошмыги-
вая, помаргивая: „Уж что-что, а уж тут на грош обману
нет...“»; «Перед возвращением в Москву бояре разобрали
между собой приказы...».

То же самое мы наблюдаем и в употреблении слов *бу-
рак*, *каторга*, *сказка*, *картуз*, *держава* в их производных
значениях, типичных для петровского времени: *бурак* —
цилиндрический сосуд из бересты с деревянным дном и
крышкой; *каторга* — старинное гребное судно рода галеры;
сказка — официальное показание о чем-либо; *картуз* — ме-
шок для артиллерийского порохового заряда; *держава* —
золотой шар с крестом наверху, служивший эмблемой вла-
сти монарха: «Как пушки, лопались бураки, трещали
швермеры, сыпались искряные фонтаны»; «Тою же весной,
тайно, без объявления, двадцать тысяч лучшего войска...
были посажены на струги, каторги и лодки...»; «Допроше-
но было много всякого народу, иные сами приносили из-
веты и давали сказки»; «Петр умело... вложил картуз по-
роху, ...поправил запал, вкатил мортиру»; «Лицом светел,

в левой ручке — держава, в правой ручке — вострая сабля...».

Слово *вор* употребляется в значении 'заговорщик, бунтовщик'; *воровство* — в смысле государственной измены, политического преступления; *прелесть* — как обман, соблазн, обольщение; *прелестный* — как обманный, соблазнительный и т. д.

Обретают вторую жизнь в романе слова *лаять* — 'бранить, ругать' («Константин, слышал, меня лает?»); *зелье* — 'порох' («А мы устали... И зелья мало...»); *заводчик* — 'организатор' («На телегу к Овсею вскочили стрельцы-заводчики»).

Иногда писатель воспроизводит и своеобразное фонетическое звучание некоторых русских вариантов иностранных слов, характерное для XVIII века: история — *гиштория*, менуэт — *минувет*, политика — *политик*, театр — *тиатр*.

Знаменательно, что слово *минувет* автор вложил в уста русских персонажей, приобщившихся к западной культуре. При описании же смерти Лефорта это слово значится как *менуэт* («Музыканты, окружив постель... заиграли менуэт, роскошный тапец»); слово *история* Меньшиков произносит как *гиштория*, а Лефорт — *история*.

Многие архаизмы и иностранные слова, встречающиеся как в авторской речи, так и языке персонажей, не комментируются писателем. Таковы, в частности, архаизмы: *бармы*, *епанча*, *гостинодворец*, *машкера*, *ферязь*, *зернь* и другие, встречающиеся у А. С. Пушкина: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, Зять палача и сам в душе палач, Возьмет венец и бармы Мономаха...» (Борис Годунов); «Оставь его: перед рассветом, рано, Я выпесу его под епанчою и положу на перекрестке» (Каменный гость); у А. К. Толстого: «Тебе ли, властелину, здесь в машкере плясать!» (Князь Михаил Репнин); у И. С. Тургенева: «Овсяников напоминал мне бояр допетровских времен... ферязь бы к нему пристала» (Однодворец Овсяников); у Л. Н. Толстого: «Такая же толпа людей... наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково-приторных, заманивающих голосов гостинодворцев...» (Война и мир). Немало в романе и таких слов, как *бушприт*, *шкот*, *фордевинд*, *шпангоут*, *элинг*, *ванты*, *шканцы*, появление которых связано с созданием Петром I русского флота, становлением России как морской державы.

Языковой колорит эпохи воссоздается А. Толстым не только путем вплетения в художественную ткань романа архаизмов и варваризмов, но и воспроизведением некоторых устаревших синтаксических конструкций и падежных форм («На Москве бунт поднялся»; «Нарышкины с товарищи...»), употреблением устаревших частиц и союзов («В прошлом-де году», «Говорил он о том, как беречь византийское благолепие, на коем одном стоит Россия»).

А. Толстой опирался на народный язык, широко используя живую речь современности. Именно это обстоятельство сообщило стилю романа «Петр Первый» особую свежесть, яркость и выразительность, сделало произведение, как сказал Горький, «книгой надолго».

Б. И. МАТВЕЕВ

СРЕДИ КНИГ

В. Г. Костомаров

РУССКИЙ ЯЗЫК СРЕДИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ МИРА

Книга «Русский язык среди других языков мира» выпущена издательством «Просвещение» в серии «Мир знаний» (М., 1975) и предназначена для учащихся старших классов. Именно с этих позиций — книга научно-популярная и книга для молодежи — постараемся разобраться в содержании, в ее большом информационном и статистическом материале. Автор проявляет свою любовь к предмету изложения, а пробудить у юных читателей серьезный интерес к родному языку, привлечь к науке о языке почитает целью своего труда.

Когда мы берем в руки новую книгу, то прежде всего открываем оглавление и читаем его. Не будем нарушать столь обычное правило знакомства с книгой... Сначала короткая записка от автора — «Читателю об этой книге», затем идут пять глав: Вавилонское столпотворение; «Возможность столковаться»; Клуб мировых языков и его новейший член; Сквозь века в семимильных сапогах; На путях всемирной истории.

Прочитав оглавление, мы можем предположить, что перед нами развернется живая повесть о судьбе языка, его истории и жизни. Нестрого научные названия глав в обрывной форме подчеркивают, выделяют самое основное, самое важное. Названия глав — это звенья единой цепи, скованной единым «языковым дей-

ством»: от языкового столпотворения через «возможность столкнуться» к мировым языкам. Неразрывная связь языка с историей и жизнью человечества, идеологией, техническим прогрессом, культурой в самом широком понимании — эта мысль проходит красной нитью через всю книгу. Подзаголовки в каждом из пяти разделов книги помогут читателю постепенно подняться по ступеням «филологической лестницы», войти в социально-языковые проблемы, разобраться в них.

Подзаголовки первой главы — Различия и сходства языков; Языковые барьеры и пути их преодоления; Переводчики и полиглоты; Языковая борьба и языковая общность — ведут к выводу о «возможности столкнуться» всем народам.

Вторая глава так и называется — «Возможность столкнуться» (это ленинские слова, см. статью В. И. Ленина «Тезисы по национальному вопросу»). В этой главе школьнику предлагается подумать над такими важными проблемами: Проблема общего языка и родного; Тождество ленинской языковой политики; От «всесоюзного переводчика» до «второго родного»; Чувство семьи единой. Читателю предлагается осмыслить существо ленинской языковой политики, значение и роль русского языка для многонациональной страны.

Особое внимание к каждому национальному языку позволи-



ло русскому языку стать общим языком в сотрудничестве народов СССР. В политическом, экономическом, культурном общении русский язык проходит путь от языка-посредника до второго родного языка. Естественное двуязычие — родной язык и второй родной русский — демонстрируется на большом материале с привлечением официальных документов, статистических данных. Существование единой советской общности народов — этот вывод делает читатель вместе с автором.

Речь пока шла о роли русского языка внутри нашей страны. Между тем русский язык вышел и на мировую арену. «Клуб мировых языков и

его новейший член» — название третьего раздела книги. И вот его подзаголовки: В рисунке уроков — «иностран- ный язык»; Как выбрать ино- стран- ный язык?; Новая исто- рическая категория челове- ческого языкового развития XX века; Своеобразие русского языка как мирового; Три при- знака мирового языка.

XX век (научный, техниче- ский и культурный прогресс, «акселерация жизни», «сокращение расстояний») обусловил так называемые мировые язы- ки — «банки» человеческой мысли. Нет языка, который один мог бы нести всю инфор- мацию, добытую общечелове- ческой мыслью и трудом. По- этому возник «клуб мировых языков» — английский, рус- ский, французский, испанский, китайский, а в 1973 году ООН признала арабский шестым официальным языком. Одной из мировых общественных функций русского языка явля- ется выражение передовой идеологии.

Большой и разнообразный фактический материал — пись- ма и высказывания частных лиц и известных политических и культурных деятелей, поэти- ческие строки и статистиче- ские данные — все это позво- лит молодому читателю понять и усвоить одно из важнейших положений марксизма о языке: язык — основной элемент мышления, элемент, в кото- ром выражается жизнь мысли.

Так осознается великая миссия родного языка в кругу языков мира. Предназначение нацио- нального языка определяется жизнью общества, его исто- рией. Тем самым становится понятным разное отношение к русскому языку — со сторо- ны прогрессивной части чело- вечества и со стороны идейных недругов коммунистического мира.

Мысль о стремительном раз- витии русского языка, стреми- тельном прогрессе пронизыва- ет четвертую главу. Эта мысль подчеркнута метафорой «се- мимильные сапоги», вынесен- ной в заглавие — «Сквозь века в семимильных сапогах». Под- заголовки делают эту метафо- ру развернутой, прозрачной: «Любя Российских Муз, я го- лос их внимаю» (слова итал- янского полиглота Дж. Г. Мец- цофанти, первая треть XIX в.); «Усердно учи русский, это бу- дет скоро язык жизни» (из письма Розы Люксембург к сы- ну Клары Цеткин); «Давайте изучать русский язык» (из проспекта японского Института русского языка «Мир»); Язык братства во всемирном масштабе; Космос говорит по- русски; На миллион больше каждые два года. Русский язык оценивается глазами ино- странцев — язык жизни, язык искусства, язык науки, эконо- мики, культуры.

Перед читателем разверты- вается картина истории и сов- ременности — в глубь веков и в

«географическую ширь»: со времен Киевской Руси и «хождения» Афанасия Никитина за три моря до полетов в космос. Благодаря интересным документированным фактам, хронологическим и статистическим данным читатель представит распространение русского языка в Европе — Франции, Германии, Италии, Англии, Болгарии; в Америке, в Индии, в Японии... Представит кругосветное путешествие русского языка. Жаль только, что книга не имеет карты языков мира и столь интересные сведения не подкреплены наглядным сопоставлением расстояний и множества языков и земель, в контакты с которыми вступал и вступает русский язык — полпред нашей страны.

Начинается новый этап в жизни русского языка — национального, интернационального и мирового. «На путях всемирной истории» — так названа пятая, заключительная глава. Подзаголовки отмечают самые важные вехи на этом пути: Рождение ассоциации; Люмая традиции; Конгресс в Варне, олимпиада в Москве; Выполняя свой интернациональный долг; Миф об исключительной трудности; Великий язык великого народа.

9 сентября 1967 года — день рождения Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Затем последовали

генеральные ассамблеи — в Москве (1969), в Варне (1973), а в августе 1976 года соберется III ассамблея МАПРЯЛ в Варшаве. Рассказ о Первой международной олимпиаде в Москве (1972), который дан в интервью самих же участников олимпиады, демонстрирует интерес к русскому языку среди самого юного поколения в разных странах мира.

Эффективный метод обучения, правдивый социальный и страноведческий фон — очень важные моменты в развенчании, к сожалению, распространенного мифа об исключительной трудности русского языка. В связи с этим заметим: у автора пособия иногда ощущаются недомолвки. Так, о балансе «трудности — легкости» в любом языке, о сравнительном равенстве всех языков рассказывается подчас слишком бегло. Между тем нельзя забывать, что читатель молод, профессионально не подготовлен. Поэтому, например, о фонетическом, лексическом или грамматическом равновесии (стр. 11 и др.) или о роли заимствованных и интернациональных слов (стр. 172) надо было бы рассказать не торопясь.

Тема «Русский язык среди других языков мира» определена школьной программой по русскому языку (8-е классы). Но в учебниках школьник найдет только несколько замеча-

ний о роли и месте русского языка среди других языков мира. Пособие В. Г. Костомарова восполняет недостающий материал по этой важной проблеме.

Книга «Русский язык среди других языков мира» вышла в серии «Мир знаний». Она действительно вводит в мир языков, в мир языковых, социальных, идеологических и культурно-исторических проблем, знакомства с которыми требует современная жизнь.

А. А. БРАГИНА

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ

В 1975 году вышел из печати однотомный «Словарь синонимов» русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой (Л., «Наука»), который представляет безусловный интерес не только для филолога, но прежде всего для широкого читателя, интересующегося выразительностью и точностью родного языка. Этот адресат подчеркивается подзаголовком Словаря: справочное пособие. Авторами учтен опыт работы по изданию двухтомного «Словаря синонимов русского языка» (т. I, 1970, т. II, 1971), который уже стал библиографической редкостью. В новом «Словаре синонимов» значительно пополнено количество

синонимических групп. Представлен обширный материал.

«Синоним — однослов, со-слов, однозначашее или весьма близкое по смыслу к другому слово» — так толкуется значение синонима в словаре Даля. Принцип тождественности, или предельной близости значений, и лег в основу построения Словаря синонимов. Это позволило, с одной стороны, избежать включения в один ряд чрезмерно широкого круга слов, близких по своему значению (но все же обозначающих различные понятия), с другой стороны, ряды не дробить на группы синонимов, объединенных предельно узким признаком семантической тождественности. Если бы авторы следовали лишь этому последнему правилу, то синонимические ряды включали минимальное число слов, имеющих одинаковую смысловую и стилистическую окраску. А ведь интересно именно разнообразие смысловых и стилистических оттенков синонимов.

Возникновение синонимов в языке — процесс длительный и сложный. В процессе исторического развития изменяются значение и стилистическая окраска слова.

Синонимы слова *бездельник*, например, несут в себе яркую экспрессивность и определенную стилистическую окраску: лентяй (разг.), лодырь (разг., пренебр.), лоботряс (прост,

презр.), балбес (прост., презр. и бран.), шалопай (разг.), шалопут (прост.), повеса (устар.), шалбёр (устар. и обл.), шалберник (устар. и обл.). Если такие синонимы, как *бездельник*, *лентяй*, *лодырь*, *лоботряс*, *балбес*, *шалопай*, и в наши дни несут ту же стилистическую окраску, что и раньше, то такие слова, как *шалопут*, *повеса*, *шалбер* и *шалберник*, ограничены в своем употреблении дополнительной стилистической окраской.

Авторы соблюдают принцип семантического тождества при выделении синонимических рядов, отмечают пересечение значений слов, приводят синонимы отдельными рядами, объединенными лишь самым общим значением слова. Так, например, слово *бедный* определяет четыре ряда синонимов: 1. Бедный (не имеющий средств к существованию), нищий, нищий (усилит.); 2. Бедный (отличающийся бедностью; характерный для бедняка, бедноты), скудный, нищий (усилит.), нищенский (усилит.), убогий (характеризует крайнюю степень бедности); 3. Бедный (ограниченный в каком-либо отношении), небогатый, скудный, нищий (усилит.), убогий (усилит.); 4. Бедный (в дореволюционной деревне в России; не имевший достаточно средств для ведения собственного хозяйства), маломощный,



маломощный (обл.). Слово же *бедный* в значении человека, оказавшегося в крайне трудном положении и вызывающего сочувствие, сострадание, отнесено в ряд синонимов с определяющим словом *бедняга*.

Безусловным достоинством Словаря является широкое включение разговорной и просторечной лексики.

Так, например, достаточно взять такой синонимический ряд, как: плакать, рыдать (сильно и громко плакать), реветь (разг.), выть (разг., усилит.), скулить (прост.), хныкать (разг.), хлюпать (прост.), нюнить (прост., пренебр.), рюмить (прост.) и рюмиться (прост.), лить (или проливать) слезы, обливаться слезами, ревя (или ревом) реветь (прост., усилит.), реветь (или выть) белугой (разг., усилит.), реветь благим матом

(разг., усилит.), чтобы увидеть какое богатство возможностей существует в русском языке для обозначения одного действия в зависимости от стиля и экспрессивной окраски!

Словарь синонимов охватывает все лексико-грамматические категории русского языка. Возьмем в качестве примера наречие *подчистую* (разг.) — *дочиста* (разг.), *начисто*, *под метелку* (разг.), *начистую* (прост.). Слово вежливого обращения *пожалуйста* — *будь* (так) *добр* (добра), *будьте* (так) *добры*, *будь* так *любезен* (любезна), *будьте* (так) *любезны*, не *откажи(те)* в *любезности*, *будь* *другом* (*друг*), *сделай(те)* *одолжение* (или *милость*), не в *службу*, а в *дружбу*.

Словарь синонимов очень удобен в обращении, им может пользоваться самый неподготовленный читатель. Эта простота свидетельствует как раз о сложной работе, проделанной коллективом лексикологов-русистов Словарного сектора Института русского языка АН СССР под общим руководством А. П. Евгеньевой. Все слова, вошедшие в Словарь, помещены в общем алфавитном порядке. Каждое слово, определяющее синонимический ряд, сопровождается кратким толкованием его значения, что исключает пересечения значений многозначных слов. «Слова являются синонимами по отношению друг к другу обыч-

но в одном из своих значений и реже в двух-трех и более значениях (а не во всей совокупности значений слова). Поэтому слова в Словаре синонимов описываются лишь в тех значениях, в которых они синонимичны друг другу», — говорится в кратком пояснительном вступлении. В ряде случаев синонимическому ряду предпослан грамматический комментарий, снабженный наглядными примерами. Так, если приводятся синонимы в форме глаголов совершенного вида, то тут же дается и синонимический ряд этих же глаголов несовершенного вида. Если же у данного синонимического ряда существует «антонимическая оппозиция», то она приводится тоже. Это позволит читателю получить наиболее полную информацию о том или ином слове.

Следует также отметить удачное графическое оформление Словаря синонимов. Слова-синонимы, определяющие синонимический ряд, напечатаны прописными буквами, их легко выделить в статье. Вообще сочетание различных видов шрифтовых выделений (курсив, разрядка и др.) позволяет очень легко ориентироваться во всем богатстве представленного материала.

Словарь синонимов русского языка безусловно очень нужная и полезная книга.

Н. И. ХРЕНОВА

ИЗ СЛОВАРЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

(Продолжение. См.: 1976, № 1—3)

Дорожкин — вопреки общераспространенной ошибке, фамилия не имеет никакого отношения к дороге; это — отчество от повседневной формы Дорошка из канонического мужского личного имени Дорофей (греч. «дар богов»), через промежуточные формы Дорох → Дорош (в силу закона смягчения $x \rightarrow ш$), как Тимофей → Тимоха → Тимошка; Иерофей → Ероха → → Ерошка и т. д. Так как само имя в течение XIX века вышло из употребления, утратилась связь этой фамилии с Дорофеев, Дорохов, Доронин, Дорошин, Дорошевич, Дорошенко и другими, этимологическое значение полностью стерлось, а возникла ложная связь по полному звуковому сходству со словом дорожка, которое по законам русского языка произносится *дорошка* (обязательное оглушение звонкого согласного перед глухим); это переосмысление продиктовало ошибочную букву ж.

Дорохов — отчество от краткой формы Дорох из канонического мужского личного

имени Дорофей (смотрите предыдущее).

Дробышев — отчество от прозвища Дробыш, документированного с 1565 года (Тупиков). Дialectное *дробыш* (в Череповецком говоре) — «ходящий мелкими шагами» (Словарь русских народных говоров, 1972).

Дронин — отчество от уменьшительной формы Дроня; основа — обиходная форма *Андрон* из канонического мужского личного имени Андроник, образованное суффиксом *-ин*, присоединяемым к основам на *-а*.

Дураков — отчество от нецерковного мужского личного имени Дурак, нередкого в России XV—XVII веков (в документах — с 1495 года). Не только фамилия, а и само имя не были оскорбительными; это имя первоначально давали, чтобы обмануть злых духов, охотящихся за детьми, — такой обычай распространен у многих народов (например, у тюркских, даже в нашем столетии). Примеры имени, а позже и фамилии многочисленны в деловых докумен-

тах, московский дьяк (крупное должностное лицо) так и подписывал их: Дурак Мишурин.

Дымов — возможна связь фамилии со старинным значением слова *дым* 'изба, двор' (в смысле 'отдельное хозяйство'), в некоторых диалектах слово сохраняет это значение и теперь. Но неясно: что могло значить притяжательное прилагательное от этой основы?

Дятлов — отчество от прозвища или нецерковного мужского личного имени Дятел (из наименования птицы), первоначально — *дятлов* 'сын Дятла': Офанаско Дятлов — 1495 год; Микита Дятел, 1547 год. Непосредственное возникновение фамилии из нарицательного *дятел* неоправданно, так как эта птица никогда не была промысловой: *дятлов* не мог быть охотником на дятлов или любителем есть их. Крупный зарубежный русист В. Р. Кипарский отстаивает мысль, что обилие русских фамилий из названий птиц обязано культу птиц у русских; мои подсчеты подтвердили, что в русском языке действительно чаще названия птиц, чем млекопитающих, рыб и прочих, но фамилии настолько поздны, что связывать их с культом птиц немыслимо, спор может идти только о происхождении тех прозвищ или имен, отчества от которых позже стали фамилиями (В. А. Никонов. Имя и общество. М., 1974).

Евланов — отчество от формы Евлан из канонического мужского личного имени Евлампий (греч. 'хороший свет'); Евлан — господствующая форма этого мужского личного имени у белорусов XVI—XVII веков (по Н. В. Бирило), другие фамилии от того же

имени и различных форм его: Евлампиев, Алампиев, Евланин, Евлахов, Евлашев, Евлашин, Ланин, может быть и Авлов, Авлуков.

Евсеев — отчество от обиходной формы Евсей из канонического мужского личного имени Евсевий (греч. *εὐσεβες* 'благочестивый'). Из того же имени — другие производные формы, разных степеней, также образовали отчества, которые стали фамилиями: Авсеев, Авсеенко, Авсейкин, Авсюков, Евсеичев (см.), Евсейкин, Евсютин, Евсюткин, Евсюхин, Евсюшин, Евсюшкин, Овсеев и другие.

Евсеевич — отчество 2-й степени 'сын Евсеича' — то есть в свою очередь от отчества 'сын Евсея', таким образом первый *Евсеевич* — внук *Евсеев*.

Евстафьев — отчество от канонического мужского личного имени Евстафий (греч. 'устойчивый'). Отчество от производных форм различных степеней из того же имени образовали множество фамилий: Астанин, Астанкин, Астанков, Астафьев, Астафичев, Астафьев, Астанин, Астахов, Асташев, Асташевский, Асташин, Асташкин, Асташов, Евстаков, Евстифеев, Евстюхин, Истифеев, Останин, Останкин, Остапенко(в), Остапов, Остафьев, Осташкин, Осташков, Стахеев, Стахов, Стафеев и другие (однако, некоторые из них — в контаминации (взаимодействии) с другими каноническими мужскими личными именами, например, Евстигней, Евстахий, Евтихий, Стахий).

Евтухов — отчество от просторечной формы Евтух из канонического мужского личного имени Евстахий; (греч. *εὐτυχος* 'счастливый'), то есть того же происхождения, как и фамилия Алтунов; отчества

от других форм того же мужского личного имени также стали: Евстифеев, Евтюхов, Евтюпин, Евтюшкин, Евтин, возможно, и Тишин, но в этом случае вероятней из мужских личных имен: Тихон или Тимофей, которые были несравненно чаще.

Егошин — отчество от формы Егеша, которая могла возникнуть из просторечной формы Егор (каноническое мужское личное имя Георгий) или из диалектного глагола *егошиться* — в уральских говорах *ерзать* 'неспокойно сидеть' (Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964).

Екимов — отчество от диалектной формы Еким из канонического мужского личного имени Иоаким (просторечное Аким); фамилия Екимов записана в различных местностях: Среднее Поволжье, Зауралье.

Елидин — отчество от канонического мужского личного имени Елпидий (греч. Элпидиос от *элпис* 'надежда').

Еманов — отчество от прозвища Еман. Рециция докум. нтация — 1569 год, пушкарь Еманов в Лебедяни (может быть еще отчество). Во многих сибирских диалектах *еман* 'козел' (из монгол.). Но фамилия записана на юго-западе Ульяновской области (село Андреевка), следовательно, слово жило еще до русского заселения Сибири. Может быть, связано с тюрк. *яман* 'плохой'?

Ерастов — отчество от канонического мужского личного имени Ераст (Эраст).

Ергин — отчество от прозвища *Ерга* из диалектного (вятского) *ерга* 'непоседа'.

Еремин — отчество от просторечной формы *Ерема* из канонического мужского личного имени Иеремия.

Ермаков — возможно отчество от формы Ермак, которая либо из мужского личного имени — по Н. В. Бирило — из Иеремия или Ермолай; по Ю. А. Федосюку — из Ермолай или Ермил; по Н. А. Петровскому — от Ерм или Ермолай; но были еще Ермий, Ермоген (Гермоген). Однако, может быть, имя Ермак не форма какого-либо канонического мужского личного имени, а возникло самостоятельно в одном из языков нашей страны? — например, из тюрк. *ярмак* 'деньги'.

Ерохин, Ерошин, Ерошкин — первоначально отчества от обиходных форм Ероха, Ероша, Ерошкин из канонического мужского имени Иерофей.

Еськов — первоначально отчество от формы Есько из канонического мужского имени Иосиф (через повседневную форму Есип, которая позже заменилась на Осип, как *елень* на *олень*, *езеро* на *озеро*, *един* на *один*).

Ефимочкин — отчество от уменьшительной формы Ефимочка из обиходной формы Ефим, образованной в свою очередь из канонического мужского личного имени Евфимий (греч. эвфемос 'благочестивый, священный'); фамилия — в Хвастовичском районе на юго-востоке Калужской обл., именно на этой территории смежных районов Орлов., Калуж., Тульск. областей особенно часты фамилии этой формы: Амеличкин, Гришечкин, Климовичкин, Пяточкин, Савочкин, Степочкин, Филичкин и другие.

Желваков — фамилия связана с нарицательным желвак 'опухоль, шишка', в диалектах имеет еще значение 'нарыв, язва', кроме того, есть

и переносное значение 'злодей, язва'.

Железняков — отчество от именования отца по занятию; в говорах Урала *железняк* 'кузнец', в некоторых других говорах 'торговец железом'.

Жмакин — фамилия связана с русским диалектным глаголом *жмакать* 'жевать', а также в украинском и белорусском языках.

Журавский — первоначально обозначение прибывшего из Журавки; на Украине (преимущественно в восточной половине) 8 населенных пунктов с этим названием.

Забусов — фамилия связана с одним из следующих диалектных глаголов: *забусать* 'запьянствовать' (ветлуж.) или *забусить* 'покрыться мелкими каплями росы' (северн.), 'запылиться мукой' (перм.).

Завадский, Завадовский — фамилии возникли на почве польского и украинского языков, означая приезжего из местечка Завада, Завадов, Завадовка; основа топонимов — *завада* 'преграда, препятствие', эти топонимы часты в Польше, Словакии и на Украине (в Украинской ССР их — 23).

Загудалов — отчество от прозвища Загудало из диалектного слова со значением 'обветренный', по Далю — пензен., симбирск.; фамилия документирована в селе Камешкир на востоке Пензенской обл.

Задерихин — отчество от прозвища Задериха (в прошлом формант *-иха* употреблялся в именах и прозвищах мужчин) из диалектного *задериха* 'сварливый, задирающий, вызывающий ссору' (вятск.).

Зайцев — отчество от нецерковного мужского личного имени Заяц, в прошлом очень

частого у русских: Н. М. Тупиков в «Словаре древнерусских собственных имен» (СПб., 1903) только из рассмотренных им документов XV — XVII веков привел 34 случая этого имени. Связывать фамилию с нарицательным *заяц* нет оснований, между ними несколько ступеней: *заяц* → Заяц → зайцев (чей сын) → Зайцев.

Закатов — 1) отчество от прозвища Закат от диалектного (псков., костром., вологод., перм.) *закатывать* 'сильно запьянствовать, загуливать' (Словарь русских народных говоров. 1972). 2) в других случаях — литературный псевдоним, например, Иван Закатов (1925) принадлежал автору О. Оршеру (И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов. М., 1941).

Заказчиков (Закащиков) — отчество от именования отца по занимаемой должности. В прошлом слово *заказчик* имело совсем иное значение, чем внешне тождественное слово имеет сегодня: *заказывать* означало 'запрещать' и 'приказывать' (это значение сохранилось в слове *казаник* 'заповедник'), слово *заказчик* в Северном Поволжье означало должностное лицо из крестьян, в некоторых местностях Сибири — старосту, у духовенства — старшего над священниками нескольких церквей.

Залыгин — отчество от прозвища Залыга, восстанавливаемого по старинному слову *залыгало* 'лжец, сплетник' (Академический словарь 1847 года привел его как тамбовское, с пометой «простонародное»).

Замятнин — отчество от нецерковного мужского личного имени Замятня, в прошлом очень частого у русских (примеры с 1474 г. — Тупиков). Так как слово *зámять* означа-

ло 'мятель', имя могли давать мальчику, рожденному в такую погоду. Но то же слово имело и другие значения — 'шум, крик' и 'мятеж'. Вариант Замятии стал самостоятельной фамилией.

Занозин — отчество от прозвища Заноза. Наричательное

заноза в диалектах имело много переносных значений: В. И. Даль привел 'задира, сутяга, заноза, любовь'.

В. А. Никонов

Продолжение следует

ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

Ответ С.м. с. 31

Относительное прилагательное *железный* в предложенных для анализа текстах выступает в значении качественного — *железный* — 'жестокый, тяжелый, необоримый'.

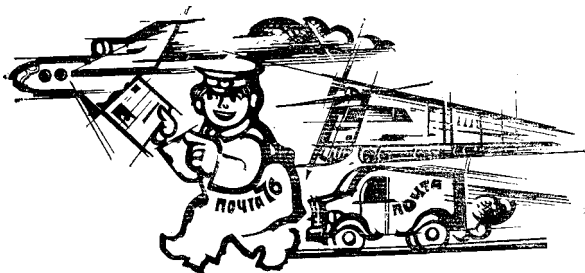
В процессе же «окачества» относительного по происхождению прилагательного изменяется не только значение, но и его грамматическая характеристика.

Метафоризация слова, развитие переносных, вторичных значений обычно главный путь перехода относительных прилагательных в качественные. Так, относительное прилагательное *железный*, подобно всем словам этой категории, не имеет краткой формы, не образует степеней сравнения, не имеет антонимической пары и т. д., то есть обладает совершенно определенной лексико-грамматической структурой.

Процесс переосмысления слова, развитие в нем новых смысловых оттенков, обусловивших непривычное употребление — явление речи и прежде всего — *художественной речи*. Прилагательное *железный*, употребленное в переносном значении в предложенных для анализа текстах, имеет форму сравнительной степени: «Тем кажется *железней*, непробудней Мой мертвый сон».

Словарь языка Пушкина отмечает 40 употреблений слова *железный*, причем 33 из них имеют значение 'сделанный из железа', и только в семи случаях есть уже отступления от прямого значения относительного прилагательного *железный*.

Качественное значение развивалось на основе метафоризации слова. *Железный* начинает обозначать 1) 'сильный, крепкий, мощный': «Вдруг витязь мой, // Вскипев, *железною* рукой...» (Руслан и Людмила); 2) в сочетании *железный век* — 'суровое, жестокое, беспощадное время' — *железный* выступает в значении качественном. История языка художественной литературы отмечает дальнейшую метафоризацию слова (см., например, уже у современника А. С. Пушкина поэта Е. А. Баратынского: «Век шествует путем своим *железным*...»).



ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

● РАЗВИТОЙ? РАЗВІТЫЙ? РАЗВИТЫЙ?

Читателя «Русской речи» Н. Ф. Алексеева из Ярославля интересуется употребление акцентно-морфологических вариантов *разви-той* — *развѣйтый* — *разви́тый*.

Вопрос об ударении в этих словах связан с различением собственно причастий и причастий, перешедших в прилагательные.

Причастие обычно обозначает как признак тот процесс, который назван глаголом: *ум, развитый работой* — это ум, который развили работой; *скорость, развитая тепловозом* — это скорость, которую развил тепловоз; *мысль, развитая автором* — это мысль, которую развил автор; *промышленность, развитая в этих странах* — это промышленность, которую развили в этих странах.

Если лексическое значение расширяется, то можно говорить о переходе причастия в прилагательное. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. И. Ушакова (т. 3, 1939) приведены два значения прилагательного *развитой*: «духовно зрелый, просвещенный и культурный» (*очень развитой юноша*) и «значительных размеров, достигший высокой степени развития, разросшийся» (*развитая промышленность*).

Причастие *развѣйтый* со значением «раскрученный» от глагола *развѣть*, соотнесенного с глаголом *вить*, колебаний в ударении не испытывает. Оно сохраняет глагольное ударение на корне: *разви́л веревку* — *развѣйтая кем-либо веревка*.

Проблема варьирования ударения в причастиях и прилагательных возникает в связи с образованиями от глаголов, не сопоста-

вимых с глаголом *вить*: *ра́звитый* (бй) человек, ребенок, ум... *ра́звита́я промышленность* (прилагательные) и *мышцы, ра́звѣтые тренировки...* *промышленность, ра́звѣтая в социалистических странах* (причастия).

В этих примерах отражены акцентные варианты, характерные для современного словоупотребления. Среди них нет причастий с ударением на окончании, встречавшимся в XIX и в начале XX века.

Знакомы так и верфь, и кубок костяной
В руках сановника, принесшего напиток,
Что пужно ли читать по небу *развитой*
Меж труб и гениев колеблющийся свиток?

Георгий Иванов. Петр в Голландии

Для причастий в современном языке этот вариант ударения можно считать устаревшим, вышедшим за пределы литературной нормы. Но в прилагательных старое флексивное ударение (ударение на последнем слоге) закрепилось и многими словарями (Словарь Д. Н. Ушакова, 1939 года; Словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова, М., 1959 год; Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» под редакцией К. С. Горбачевича, М., 1973 год) дается как единственно правильное для этой части речи: *развитой ребенок, социализм.... развитая сеть железных дорог.*

Однако в настоящее время получил широкое распространение в разговорной, художественной и публицистической речи вариант *развитый* с ударением на приставке. Судя по материалам картотеки Института русского языка АН СССР и по результатам проведенного нами лингвистического эксперимента, этот вариант одинаково характерен для прилагательных и для причастий. В прилагательных он конкурирует с вариантом *развитой*, а в причастиях — с вариантом *развѣтый*, постепенно его вытесняя.

Промышленность, развитая в странах и редко развѣтая в странах... Скорость, развитая тепловозом и редко развѣтая тепловозом... Деятельность, развитая во время предвыборной кампании и редко развѣтая... Мысль, развитая в работе и редко развѣтая в работе... Мускулатура, развитая тренировки и редко развѣтая тренировки (причастия).

Я тоже развитый стал. Развитый, талантливый, сильный юноша... (прилагательные).

Для официальной речи и печати в последнее время характерно флексивное ударение прилагательного в словосочетании *развитой социализм*: «Развитой социализм не только серьезно расширил объем хозяйственно-организаторской функции, но и обусловил глу-

бокие качественные изменения в формах и методах государственного руководства и управления народным хозяйством» («Правда», 26 сентября 1975).

По-видимому, префиксальное ударение в форме *разви́тый* возникло по аналогии с ударением в кратких формах *разви́т*, *разви́то*, *разви́ты*.

Оно поддерживается таким же ударением в сложных прилагательных, рекомендуемым орфоэпическим словарем под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова: *высдорáзвитый*, *сла́борáзвитый* (побочное ударение не имеет отношения к нашей теме).

Как правило, носители литературного языка акцентологически не противопоставляют в речи сложные слова и сочетания наречий с прилагательными: *экономически разви́тый*, *политически разви́тый*, *физически разви́тый*, *промышленно разви́тый* и т. д. Опрошенные нами в эксперименте лингвисты пользуются преимущественно префиксальным ударением для компонента *разви́тый* в этих словосочетаниях.

Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет говорить о варьировании ударения в современном словоупотреблении в пределах литературной нормы. Для простых прилагательных можно считать нормативными флексивное ударение — *разви́то́й* и префиксальное — *разви́тый*: ум, память, государство, социализм (предпочтительнее флексивное), а для причастий от глаголов «непрямого» действия: префиксальное — *разви́тый* и менее употребительное накоренное — *разви́тый*. Не варьируется ударение, как уже сказано, в причастии со значением 'раскрученный' от глагола конкретного действия (*разви́тая пружина*), а также в сложных прилагательных (*сла́борáзвитый*). В словосочетаниях для прилагательного *разви́тый* предпочтительным оказывается ударение на приставке (*экономически разви́тый*).

С. Н. Борунова

● В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ АНГОЛА ИЛИ АНГОЛЕ?

В области иноязычных географических названий, употребляемых в функции приложения, то есть в сочетании с родовыми словами типа *город*, *республика*, *штат*, *река*, *местечко*, тенденция к несклоняемости проявляется в большей степени, чем среди собственно русских и славянских наименований. Мы пишем: *до города Макарьева*, *к реке Светлой*, *строения поселка Таежного*, *в селе Соломинке*, *но в городе Риу-Майор*, *в районе деревни Адейса*, *на острове Диего-Гарсия*, *в местечке Глапакоян*, *из штата Невада*.

Несклоняемость часто диктуется стремлением к точности в передаче нерусских названий. Чем меньше известен географический

объект, тем более заметно выступает необходимость привести топоним в функции приложения в неизменяемом виде:

«Вооруженные силы колонизаторов в спешном порядке перебрасывают на самолетах оружие и продовольствие *в город Дамба*, на севере страны, окруженный повстанцами» («Правда», 22 апреля 1961); «И вот теперь они больше недели живут *в деревне Хуоса*» (Ю. Филатов. В стране долин и гор); «Дети *из местечка Ховур* ходят на занятия за семь километров» («Учительская газета», 25 октября 1962).

Практика употребления иноязычных наименований в современном литературном языке убеждает в том, что склоняемость топонима в функции приложения находится в прямой зависимости от его морфологического облика. Согласно укрепившейся норме не склоняются наименования на гласные *-о*, *-е*, *-и* (в районе Чунгбо, у местечка Компореале, из г. Плоешти). Как замечают исследователи, даже выражение *в городе Афинах* в современном литературном употреблении заменяется конструкцией *в городе Афины*.

Некоторые колебания испытывают наименования на *-а* с предпочтительным употреблением несклоняемых вариантов: *в штате Алабама*, *в штате Флорида*, *губернатор штата Баия*, *в порту Осака*, *к городу Вита*, *к деревне Кеврола*, *из села Анага* и т. д. Ср.: «Бессонную ночь сегодня провели жители *острова Осима*» («Правда», 1 марта 1974). Реже встречаются случаи склоняемости названий: «В португальской *колонии Анголе* продолжаются бои между ангольскими повстанцами и колониальными войсками» («Правда», 22 апреля 1961). В этом примере род определяемого слова и род топонима совпадают, что, возможно, и способствовало склоняемости наименования. Чаще же в рассматриваемой конструкции женский род географического названия на *-а* не согласуется с родом обобщающего нарицательного слова (город, штат, поселок, местечко).

Особые нормы употребления сложились в терминологических наименованиях. Так, в сочетаниях со словом *республика* иноязычные топонимы на *-а* принимают несклоняемую форму: «В ответной телеграмме президент *Республики Коста-Рика* выразил благодарность за поздравления» («Правда», 2 марта 1974); «Вступление *Народной Республики Ангола* в Организацию африканского единства является победой свободной Африки...» («Правда», 16 февраля 1976); «Развивая наступление на южном и восточном направлениях, вооруженные силы *Народной Республики Ангола* заняли город Нгиву...» («Комсомольская правда», 15 февраля 1976).

В то же время наименования на *-ия* в сочетаниях с термином *республика* склоняются: делегация *Народной Республики Болгарии*, в *Социалистической Республике Румынии*, договор с *республи-*

кой Югославией, из Республики Колумбии. Обособленность этой морфологической группы названий усилилась с появлением целого ряда наименований республик, например, таких как Индия, Замбия, Индонезия, Танзания, Исландия, Мавритания, Кения.

В наибольшей степени склонность к формоизменениям в функции приложения обнаруживают топонимы на согласный. По сравнению с практикой использования этих наименований в XIX веке тенденция к несклоняемости в XX веке и в этой группе значительно усилилась. Однако неустойчивость в употреблении еще заметна. В целом численное превосходство остается все же на стороне несклоняемых форм: *в городе Луисвилл, в городе Мобеж, в городе Ниамет, в провинции Зядинь, близ города Мэнстон, в городке Певек, из республики Судан, делегация Республики Афганистан, президент Республики Кипр, в городе Колумбус* и т. д. «Бои продолжаются в дельте Меконга вокруг г. Кайлай» («Правда», 16 августа 1972); «Под натиском патриотов подразделения марионеток вынуждены были оставить несколько укреплений близ г. Биньшон» («Правда», 20 сентября 1972).

Подобные наименования склоняются реже: *в г. Сумгаите, из г. Нукуса, от г. Кафана*. Заметно, что подвержены формоизменениям в первую очередь те топонимы, которые называют города и населенные пункты на территории СССР и, следовательно, в разговорной практике постоянно склоняются: «Бумажки наши уже *в городе Коканде* ходят» (А. Федченко. Путешествие в Туркестан). Однако со словами *селение, деревня, поселок, село, местечко* даже освоенные заимствования, — об этом сказано раньше, — чаще не согласуются в падеже.

Не склоняются в функции приложения сложные и составные наименования типа *в г. Санта-Крус, из казахстанского города Кызыл-Орда, в г. Санта-Марта, из г. Кум-Даг, в г. Нам-Динь, из г. Чан-лин-сянь, из г. Ден-Пасар, близ г. Тыргу-Муреш, в г. Ла-Рошель, к городку Санта-Нинфа, у деревни Ким-Бой, в деревне Чар-Духтарак, в деревне Ланг-Кон* и т. д.

Зарегистрирована склоняемость первой части сложного наименования в конструкции «топоним на реке» типа *Франкфурт-на-Майне, Стратфорд-на-Эвоне, Шведт-на-Одере*: «Чем ближе мы приближались к городу Шекспира Стратфорду-на-Эвоне, тем светлее становился мистер Лорри» (А. Софронов. На пяти материках); «В городе Шведте-на-Одере поднимаются корпуса будущего промышленного гиганта — нового нефтеперерабатывающего комбината» («Московский комсомолец», 27 декабря 1962). Как видим, норма употребления географических названий отнюдь не однообразна и не может быть сведена к единственному правилу.

Л. К. Граудина

● ПЕРЕИГРАТЬ

Читательница нашего журнала И. Л. Шилова из Ленинграда в своем письме отмечает распространенное «в последнее время» употребление глагола *переиграть* в значении «обыграть кого-нибудь в какой-нибудь игре», которое якобы «не зафиксировано словарями», и спрашивает, правомерны ли такого рода употребления: «Динамо» сумели переиграть хозяев поля 8:6» («Спортивная Москва», 18 декабря 1975).

Употребление глагола *переиграть* в названном значении — явление не новое, во всяком случае не относящееся к последнему времени. Впервые это значение было зафиксировано «Толковым словарем русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова: «Состязаясь, проиграть дольше, сыграть лучше, чем другие, победить в игре». Но словарь Д. Н. Ушакова квалифицирует глагол *переиграть* в данном значении как просторечие. 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» также обнаруживает это значение в семантической структуре глагола *переиграть*: «Играть в какую-либо игру, играть на музыкальном инструменте или представляться на сцене лучше другого, других; побеждать в игре». В отличие же от словаря Ушакова в 17-томном Словаре глагол *переиграть* в названном значении не сопровождается никакими ограничительными стилистическими пометами, а характеризуется как свойственный нейтральному общелитературному употреблению. Такая же характеристика глаголу дана в 4-томном «Словаре русского языка». «Словарь русского языка» С. И. Ожегова это употребление глагола *переиграть* не зафиксировал.

Анализ контекстного употребления *переиграть* в рассматриваемом значении позволяет утверждать, что наиболее часто этот глагол оказывается включенным в тексты спортивных репортажей и информации. При этом отчетливо различаются два основных значения, которые он выражает:

1) Играть в какой-нибудь игре лучше других; участвовать в какой-нибудь игре, превосходя партнеров: «С первых минут „Кибиркшис“ неудержимо пошел вперед, переиграл соперниц... и в скорости, и в точности бросков» («Советский спорт», 28 ноября 1975); «...Две другие пятерки „Динамо“ заметно переигрывали соперников, и если бы не Третьяк — неизвестно, как бы закончился матч» («Советский спорт», 30 ноября 1975); «Игроки „Буффало“, и особенно защитники, среди которых выделялся двухметровый гигант Джерри Кораб, переиграли русских в жесткой игре» — отметила «Нью-Йорк таймс» («Правда», 7 января 1976).

2) Победить в какой-нибудь игре, одержать победу в какой-нибудь игре над соперниками: «Хоккеисты второй сборной начали

турне по Канаде с победы. В первом матче они переиграли в Галифаксе местный профессиональный клуб „Нова Скотия вояж“ — 4 : 2 («Футбол. Хоккей», 14 декабря 1975); «В матче Таль черными переиграл Дорошкевича» (Телевизионная передача «Программа „Время“», 14 декабря 1975); «В седьмом туре Бронштейн легко переиграл Янса» («Правда», 7 декабря 1975).

Оба значения не только не противоречат, но порождены и поддерживаются внутренней формой, структурой самого слова: благодаря значению превосходства, приносимому приставкой *пере-*, подобные глаголы имеют значение ‘с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, превзойти другого исполнителя действия’ («Грамматика современного русского литературного языка». М., 1970).

Интересным представляется контекстный пример, иллюстрирующий появление переносного употребления у рассматриваемого глагола — ‘состязаясь, соревнуясь, одержать победу’: «Я думаю, то обстоятельство, что английский арбитр Памела Пит дала им оценки 5,9 и поставила на второе место после Родниной и Зайцева, было маленькой сенсацией вечера. Значит, моим ребятам пора бороться за „серебро“. Впрочем, я несколько забегаю вперед. У них сегодня твердое третье место, но оно еще не дает бронзовых медалей. Предстоит переиграть и в произвольном катании очень сильную пару Мануэлу Гросс и Уве Кагельмана» («Советский спорт», 15 января 1976 — интервью тренера Т. Н. Москвиной).

Таким образом, данные словарей, современное речевое употребление показывают, что слово *переиграть* в значениях ‘превзойти в игре’, ‘победить в игре’, придя в речевое употребление из профессионального просторечия (при этом не без основания следует предположить, что в разные периоды фиксации рассматриваемый глагол попадал в литературное употребление из различных профессиональных сфер — музыкальной, актерской, спортивной), утратило стилистическую окраску разговорности и утверждается в общелитературном языке, ограничивая сферу своего применения контекстами определенного тематического содержания.

Г. И. Миськевич

● «ПОРЯДКА ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ...»

«Правомерно ли употребление конструкции *порядка чего-нибудь* вместо слов *около, приблизительно, примерно* в таких случаях: «Мы обязались получить урожай порядка 20—25 центнеров с гектара» (из выступления агронома). Обогащают ли эти конструкции нашу речь?» — спрашивает В. М. Тищенко из Белгородской области.

Слово *порядок* в конструкции *порядка (чего-нибудь)* в интересующем В. М. Тищенко случае превращается в предлог со значением 'около', 'приблизительно'. Об этом писали А. Н. Гвоздев в сборнике «Вопросы культуры речи» (вып. 3. М., 1961, статья «Порядка десяти тысяч») и Л. И. Скворцов в сборнике «Исследования по русской терминологии» (М., 1971, статья «Терминология и культура речи»). Конструкция *порядка (чего-нибудь)* возникла в специальном языке математиков, астрономов, физиков, где *порядок* — это разряд десятичной системы счисления: «...Могли бы существовать звезды-супергиганты с массами порядка 50 тысяч масс Солнца и даже выше» (В. Н. Комаров. Новая занимательная астрономия. М., 1972). Из речи математиков эта конструкция перешла в бытовую речь и теперь все чаще употребляется в ней; так, можно услышать: «Нас в походе было человек что-то порядка десяти».

Таким образом, мы видим, что конструкция *порядка (чего-нибудь)*, переходя из профессиональной речи в бытовую, приобретает все более широкое и менее четкое значение, обозначая то же, что и соответствующая конструкция со словом *около*. Следует еще сказать, что в словарях русского языка это значение в слове *порядок* не отмечается. Ведь конструкция *порядка (чего-нибудь)* принадлежала сначала к речи профессиональной, а в речи бытовой стала употребляться сравнительно недавно.

Как же следует относиться к явлениям такого рода, то есть к тем случаям, когда какая-либо конструкция или отдельное слово из чисто профессиональной сферы переходит в сферу общеупотребительной речи? Считать ли выражение *порядка (чего-нибудь)* просто сорняком, как предлагает читатель «Русской речи», или рассматривать такие случаи как явление закономерное? Существуют разные точки зрения на эти вопросы.

А. Н. Гвоздев считал словосочетания типа «порядка 10 — 15 квартир в доме» ненужными, никак наш язык не обогащающими и не имеющими широкого распространения. Думается, что в этом вопросе следовало бы согласиться с Л. И. Скворцовым, который пишет в названной статье: «Для наших дней такой категоричный вывод [о ненужности этого выражения в общеупотребительной речи. — В. Ф.] нуждается, по-видимому, в определенном уточнении. Возникая в ряду синонимичных выражений типа *в районе, где-то, около* и т. п., конструкция *порядка (чего-нибудь)* отражает определенную тенденцию современной разговорной речи — ее стремление к использованию „полутерминов“ и „полупрофессионализмов“ в качестве средств обновления и экспрессии бытового общения».

Надо заметить, что вопрос о правомерности употребления в бытовой речи как отдельных слов, так и целых конструкций из профессиональной лексики не нов. В языке происходит естественный процесс перехода терминов, профессионализмов в так называемые «полутермины», «полупрофессионализмы». Элементы специальной, профессиональной лексики, входя в литературный язык, приобретают более широкое значение. Именно поэтому на вопрос о том, закономерно или нет употребление того или иного профессионализма в общеупотребительной речи, нельзя ответить однозначно.

При этом следует учитывать тенденцию разговорной речи разнообразить свои выразительные возможности. Вместе с тем и злоупотреблять конструкциями типа *порядка (чего-нибудь)* в общеупотребительной речи, на наш взгляд, не стоит. Во фразе физика — «...изотопы с временами полураспада *порядка 0,01 сек.*» — или астронома — «до ближайшей звезды расстояние *порядка* стольких-то световых лет» — эта конструкция вполне уместна. В речи агронома — «Мы обязались в этом году получить урожай *порядка 20—25 центнеров* с гектара» — такую конструкцию лучше заменить сочетанием со словами *около, приблизительно, примерно*, которые точнее соответствуют выражаемому содержанию.

В математическом языке термин *порядок* имеет строго определенное значение, вносит точность и краткость в изложение. В непрофессиональной речи конструкцию с этим словом можно употреблять как раз в тех случаях, когда нужно выразить что-то весьма приблизительное. Особенно неуместна эта конструкция в отчетах или докладах с конкретным цифровым материалом.

В. С. Филиппов

● ВАРГАНИТЬ (СВАРГАНИТЬ)

Л. М. Моеусов из Костромы просит рассказать «о происхождении и значении глагола *сварганить*, бытующего в русской речи повсеместно».

Глагол *варганить (сварганить)*, действительно, употребляется в современном русском языке, преимущественно в сниженной разговорной речи, в значении ‘делать, сделать что-либо’: «— Вот с того угла и начнем (косить), пока не жарко. А вы, бабоньки, палите костер да варганьте косцам еду» (Васильев. Иванов катер); «А на столе-то, на столе-то щи его ждут, и щи, знает Пашка, вкусные, ни одна столовая таких не сварганит — наваристые» (Притула. Пашка с Березовой).

Своим происхождением это слово, по-видимому, обязано народному музыкальному инструменту под названием *варган*. «Словарь русских народных говоров» АН СССР отмечает почти во всех значениях диалектного слова *варганить* признаки, связанные с производством шума, звуков: «шуметь, кричать»; «нестройно громко петь или играть на музыкальном инструменте»; «делать что-либо со стуком»; «звенеть (о колокольчике)»; «очень быстро говорить»; «издавать хриплые звуки, хрипеть, храпеть».

Глагол *варганить* в современном русском литературном языке, выступая в значении «делать что-либо», иногда несет добавочный оттенок, подчеркивающий качество работы: сделано быстро, но кое-как: «— Пробовал сварщикам помогать,— продолжал Василий Иванович.— Порой такое „сварганят“, что вся конструкция в буквальном смысле трещит по швам» («Правда», 13 сентября 1969); «— Срубил эту избу купчик один из Ильинки. Пригнал сюда пять мужиков. Они в два дня это жилье сварганили» (Марков. Сибирь).

Это значение слова *варганить* (*сварганить*) отмечено 17-тым Словарем: «*Сварганить*... Просторечное. Сделать что-либо наскоро или кое-как». «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (М., 1972) обращает внимание читателя на стилистическую окраску слова: «*Варганить*... (просторечное, неодобрительное). Делать, изготавливать что-нибудь // сов. *сварганить*... Быстро *сварганил дельце*».

Глагол *варганить* образован от слова *варган*. Одни лингвисты считают, что оно пришло в русский язык через польский из латинского, другие, — через болгарский из греческого.

В русском литературном языке не следует без нужды пользоваться глаголом *варганить* (*сварганить*). Надо всегда помнить о его стилистической окрашенности, о сфере его употребления.

В. Н. Сергеев

● ОПРИЧНИК

Читатель журнала «Русская речь» москвич тов. Звездин просит рассказать о значении слова *опричник*, которое он услышал в разговоре двух собеседников. Письмо это прежде всего интересно своим свидетельством того, что старое, древнерусское слово встречается в разговорной речи и в наши дни.

«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера указывает на существование в древнерусском языке слова *опричь*, которое могло быть либо наречием, либо предлогом со значением «кроме», отсюда и *опричный* — «посторонний, особый». В древнерусском языке существовало также слово *опришьнъ* и имело значение «отдельно, особо»: «Първыи же час, поѣтъся *опришьнъ* заоутрънѣ, оуже

свитающу дни» (В первый час заутрення *особо* служится, когда светает уже). В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского приведен интересный пример со словом *особно* в значении 'особый, отдельный': «А въ которомъ монастыри черньци, туто бы черньци не были; но черньци бы жили себѣ одны въ монастыри безъ чернищъ, а черньци бы жили себѣ *особно* во опришнѣмъ монастыри» (В монастыре, где монахи, чтобы монахинь не было, но монахи жили себе в монастыре одни без монахинь, а монахини, чтобы жили себе отдельно, в *особом* монастыре).

Значение 'отдельно, особо' сохраняет и слово *опричнина* как «система чрезвычайных мероприятий, осуществленных царем Иваном IV (Грозным) для укрепления Русского централизованного государства и разгрома боярско-княжеской оппозиции» (Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах). Заметим здесь, что в XVI веке слово *опричнина* было уже словом устаревшим: в удельное время *опричниной* назывался земельный надел вдове князя, выделявшийся в полную собственность, в отличие от тех наделов, которые давались в пожизненное пользование. Поэтому летопись XVI века заменяет слово *опричнина* выражением 'особый двор'.

Причиной возникновения *опричнины* в Русском государстве явились столкновения, возникшие в то время между государем (Иваном IV) и боярством. По словам известного историка В. К. Ключевского, «опричнина явилась учреждением, которое должно было ограждать личную безопасность царя. Ей указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в существовавшем московском государственном устройстве. Цель эта состояла в том, чтобы истребить крамолу, гнездившуюся в Русской земле, преимущественно в боярской среде. Опричнина получила назначение высшей полиции по делам государственной измены». (В. К. Ключевский. Курс русской истории. ч. II. М., 1937). В «Князе Серебряном» А. К. Толстого об опричнине царь Иван Грозный говорит: «... беру на свой *особый* обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою *особую* стражу называю... *опричниной*, а все достальное, то земщина. А боярам и митрополиту со властью в мой домовый *особный* обиход не вступаться». «Опричное войско» являлось личной охраной царя и насчитывало одну тысячу человек. Служилых людей, состоявших в войсках опричнины, телохранителей при особе Ивана Грозного называли *опричниками*, то есть 'особой стражей'.

Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники...

Дерматов. Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова

*Опричник.
Поддон
подсечника.
XVII век.*



Современники так судили об опричнине: «Воздвигнул царь крамолу междуусобную, в одном и том же городе одних людей на других людей напустил... И была туга и ненависть на царя в миру, и кровопролитие, и казни учинились многие» (В. К. Ключевский. Курс русской истории). «Целая многочисленная толпа, целая дружина временщиков! После этого неудивительно встретить нам от современников сильные жалобы на опричнину», — пишет историк С. М. Соловьев в книге «История России с древнейших времен» (книга III. М., 1960).

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова одно из значений слова *опричник* дано с пометой «презрительно»: «угнетатель народа, верный приспешник врагов народа».

В «Словаре современного русского литературного языка» отмечено, что слово *опричник* может употребляться в переносном значении (обычно в форме множественного числа) — «о царской полиции, жандармерии». В этом значении, говоря о самодержавном правительстве, употребил слово *опричники* В. И. Ленин в статье «Начало демонстраций»: «Опричники бесчинствуют тайно, а мы сделаем их бесчинства публичными и открытыми»

Л. А. Владимирова

● «СМЕЛЬСТВО, ВЕСЕЛЬСТВО...»

О. Мельников из Саратовской области пишет в «Русскую речь»: «Я очень люблю и, как мне кажется, понимаю поэзию. Только иногда по непонятной для меня причине современные поэты используют слова, которых, по-моему, нет в нашем языке. Могу привести некоторые примеры: «С *регулярством* грохота кузнечьего /волны бьются в мол» (Б. Слуцкий. Море); «Эта липкая *тараканщина*,/ с микрофоном в лапках-руках» (Евтушенко. Тараканы).

Помогите мне, пожалуйста, разобраться, для чего поэты используют в своих стихах новые слова, которых нет ни в одном словаре».

В современной поэзии действительно встречаются новые слова, не отмеченные словарями современного русского литературного языка. Слова эти выполняют в тексте стихотворения самые различные функции, которые часто зависят от того, имеет ли называемое понятие свое обозначение в языке. Если новое слово обозначает понятие, не имеющее выражения в языке, оно выполняет номинативную (назывную) функцию, поскольку служит для обозначения нового смысла, нового содержания. Если же новообразование называет понятие, имеющее обозначение в языке, оно выполняет стилистическую функцию. В этом случае новообразованию в языке соответствуют синонимическое слово или оборот, соотношение с которыми и раскрывает в нем новые оттенки смысла. Для того чтобы нагляднее представить сказанное, обратимся к анализу новообразований с одним и тем же суффиксом *-ств(о)*.

Новообразования на *-ств(о)* со значением отвлеченного признака выполняют номинативную функцию в том случае, когда они называют понятия, не имеющие соответствующего наименования в коллективной практике носителей языка. Таковы, например, слова *дуэлянтство*, *кучумство*, *чалдонство* (чалдон — коренной житель Сибири):

Лучшие из русского дворянства...
Липь играли в пьянство-*дуэлянтство*,
тонко соблюдая мажкерад...
Евтушенко. Казанский университет

Кучумство с подростков кожу
сдирало на абажуры...

Вознесенский. Пролог к поэме

Как близки твое мне *чалдонство*
И очерк монгольский лица.

Скуратов. Забайкалка

Новообразования на *-ств(о)* выполняют стилистическую функцию, когда используются для выявления в слове новых семанти-

ческих (смысловых) или эмоциональных оттенков. Например, слово *комсомольство* у И. Асеева:

Формальным *комсомольством* щеголяя,
ханжи, лжецы,
наушники, плуты,—
они мертвили разум,
оголяя
от всей его сердечной теплоты.

А с е е в. Маяковский начинается

Новое слово может передавать авторское отношение к названному. В этом случае новообразование отличается от общеизвестного слова, обозначающего то же понятие, своей эмоциональной окраской. Так, в языке есть существительные с суффиксом *-щина(а)*, который придает значению слова оттенок отрицательности: *итальянщина, цыганщина, татарщина*. Поэт М. Львов употребляет слово *татарство* с тем же значением, что и *татарщина*, но без отрицательной эмоциональной окраски:

Мои стихи — мои громоотводы.
С татарского на русский переводы.
Татарства взрыв нет-нет да в них проскочит,
Мой темперамент Азней подскочит.

«Я — переводчик с татарского на русский...»

Новообразование может быть использовано и для оживления образного представления, уже стершегося в общеизвестном значении слова. Новое слово в этом случае по смыслу ничем не отличается от имеющегося в языке, обозначающего то же понятие. Новая форма призвана усилить внимание читателя и оживить внутреннюю форму слова. Например, общелитературное слово *власть* и новообразование *властительство, регулярность* и *регулярство, сострадательность* и *сострадательство, угрюмость* и *угрюмство*: Претензии на *властительство* // Миром, шаром этим земным (Б. Слуцкий); С *регулярством* грохота кузнечьего // волны бьются в мол (он же); Как-то стыдно сплошной заслезненности, // *сострадательства* с нимбом борца (Е. Евтушенко); *угрюмство* быта (Ю. Мориц).

Некоторые необычные по своей форме слова, не отмеченные толковыми словарями современного языка, привлекаются в поэзию с целью стилизации под диалектную речь (диалектизмы *смельство, весельство* и общераспространенные *смелость* и *веселье*):

Смельство, весельство,
Душевность, открытость —
Все будет с тобой.

Б о к о в. Слово в день своего рождения

Новыми для читателя могут показаться и устарелые слова, вышедшие из употребления и отсутствовавшие в словарях:

Болтает мой аббат...

Про шумства школяров в тавернах у застав...

Мартынов. Домотканая Венера

С целью стилизации используют поэты и различного рода разговорно-просторечные слова, также не отмеченные словарями современного языка.

Следует, однако, отметить, что далеко не все современные поэты образуют новые слова. Одни создают их постоянно, другие обходятся без новообразований. Такое разное отношение к словотворчеству тесно связано с творческой индивидуальностью поэта.

Кроме того, нельзя забывать, что большинство поэтических новообразований, хотя и показывает потенциальные возможности русского языка, однако остается за рамками языка. Почти все они являются достоянием тех стихотворных текстов, в которых возникли, и лишь немногие из них вошли в наш язык.

М. А. Бакина

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. И. БОРКОВСКИЙ (главный редактор), Г. П. БЕРДНИКОВ,
Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, К. В. ГОРШКОВА,
В. П. ДАНИЛЕНКО, В. Я. ДЕРЯГИН, И. Г. ДОБРОДОМОВ,
Л. П. ЖУКОВСКАЯ, Л. М. ЛЕОНОВ, А. И. ОВЧАРЕНКО,
И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Л. И. СКВОРЦОВ
(зам. главного редактора), Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ,
Ф. П. ФИЛИН, О. А. ХАМИЦАЕВА (ответственный секретарь)

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2
Телефон: 202-65-25

Зав. редакцией Т. С. Колмакова
Художественный редактор Т. А. Михайлова
Корректоры В. В. Беляев, Г. Н. Шамина

Сдано в набор 12/IV—1976 г. Подписано к печати 29/VI—1976 г. Т-09043.
Тираж 70 000 Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Усл. печ. л. 8,4 Бум. л. 5
Уч.-изд. л. 9,7. Заказ 479.
